

РЭЙМОНД
КОЛЛИНЗ



ИСПОВЕДЬ АГЕНТА В РЯСЕ

ИСТОРИЯ ВЕРЫ, ПРЕДЕТЕЛЬСТВА
И ПОИСКА ИСКУПЛЕНИЯ

Исповедь агента в рясе

Рэймонд Коллинз

Настоящее издание является художественным произведением. Все имена, персонажи, события, организации, компании и иные элементы повествования являются результатом художественного вымысла. Любое сходство с реальными лицами, действующими или прекратившими деятельность организациями, компаниями, а также с реальными событиями и обстоятельствами носит исключительно случайный и непреднамеренный характер.

Оглавление

Пролог

Глава 1. Воронеж, 1971. Свеча

Глава 2. Первый приход

Глава 3. Отец Варлаам

Глава 4. Семинария

Глава 5. Первый визит

Глава 6. Второй визит

Глава 7. Позывной

Глава 8. Женева

Глава 9. Маша

Глава 10. Дело «Аптекарь»

Глава 11. 1989. Исповедь

Глава 12. Путч

Глава 13. «Аргументы и факты», январь 1992

Глава 14. РАЦИРС

Глава 15. Дело Наташи

Глава 16. Андрей

Глава 17. Файл «Алтарь»

Глава 18. Молитва без слов

Глава 19. Исход

Глава 20. Эпилог. 2026. Письмо

Пролог

Я стою перед алтарем пустой деревенской церкви в Рязанской области. На часах половина пятого утра. За окнами — глухая, непроницаемая зимняя темнота, в которой тонет даже лай собак. В храме пахнет старым воском, сыростью и тем особым, въевшимся в дерево холодом, который бывает только в зданиях, где десятилетиями никто не жил.

Я зажигаю одну свечу. Пламя дрожит, выхватывая из мрака потускневший лик Спасителя. Я смотрю на Него. Он смотрит сквозь меня. Мы молчим. Нам давно не о чем говорить.

Меня зовут Николай Сергеевич Кравцов. В церковных документах я значусь как протоиерей Николай. В пожелтевших, пахнущих канцелярской пылью папках на Лубянке я прохожу под оперативным псевдонимом «Алтарь».

Люди любят думать, что предательство — это громкий, драматичный акт. Что в момент падения небо темнеет, а внутри что-то обрывается с оглушительным треском. Это ложь, придуманная для того, чтобы успокоить совесть. Настоящее предательство совершается в абсолютной тишине. Оно звучит как вежливый, почти дружеский голос человека в сером костюме, который говорит: «Мы ведь с вами понимаем друг друга, Николай Сергеевич. Мы просто хотим, чтобы у всех всё было хорошо».

И ты киваешь. Одно короткое движение подбородком. Одно движение ручки по бумаге. И всё. Ты выходишь на улицу, вдыхаешь морозный воздух, смотришь на спешащих к метро людей и с удивлением понимаешь, что мир не рухнул. Ты всё так же дышишь. Ты всё так же веришь в Бога. Тебе даже кажется, что ты совершил жертву ради высшего блага.

С 1977 по 1991 год я был агентом 4-го отдела 5-го управления КГБ СССР. Моей задачей было не ловить шпионов. Моей задачей было слушать. Я слушал исповеди, разговоры в трапезных, шепоты в семинарских коридорах. Я фиксировал, кто читает самиздат, кто слишком часто переписывается с заграницей, кто искренне верит, а кто просто делает карьеру. Я писал отчеты.

Позже, когда рухнула страна, я думал, что всё закончилось. Но система не умирает — она просто меняет вывески. В девяностые я стал уважаемым

экспертом. Я защищал общество от «деструктивных культов» сначала рядом с новыми церковными информационно-консультационными центрами, а уже в нулевые — в орбите РАЦИРС. Я писал экспертные заключения, которые ломали судьбы людей с той же эффективностью, с какой раньше это делали доносы. Я сменил кураторов в погонах на кураторов в рясах, но суть моей работы осталась прежней: контроль, надзор, подавление.

Я пишу эти строки не для того, чтобы оправдаться. Оправдания — удел тех, кто еще надеется на снисхождение. Я не надеюсь. Я пишу это, потому что память — единственное, что у меня осталось. Это мой последний, самый точный отчет. В нем не будет имен, измененных ради благозвучия, кроме тех, что я обязан скрыть. В нем не будет красивых теологических рассуждений.

Я хочу рассказать, как именно свет превращается в тень. Как искренняя, горячая вера девятнадцатилетнего мальчишки, нашедшего Евангелие на подоконнике советского общежития, шаг за шагом, компромисс за компромиссом, привела его к соучастию в разрушении человеческих жизней.

Я помню их всех. Отца Варлаама, которого отправили умирать в глушь из-за моего молчания. Александра Огородникова, чью семью мы методично уничтожали. Девочку Наташу, которую мои «экспертные» слова отправили в психиатрическую палату. Мою жену Машу, которая всю жизнь делила постель с чужим человеком. Моего сына Андрея, чей взгляд я до сих пор не могу выдержать.

Они приходят ко мне по ночам. Не как призраки — как факты. Как строчки из тех самых отчетов, которые я читал в архиве в 2006 году, когда наконец увидел свое дело. Я смотрел на эти листы и не узнавал себя. Тот человек, агент «Алтарь», был методичен, холоден и страшен. И этим человеком был я.

Эта книга — не путь к катарсису. Катарсис подразумевает очищение, а пепел очистить нельзя. Но пепел можно собрать. Можно рассмотреть его на ладони, чтобы понять, что именно сгорело.

Свеча догорает. Скоро в храм придут три местные старухи — моя единственная паства. Я надену епитрахиль, выйду к ним и буду произносить древние слова, в которых когда-то искал спасения, а нашел лишь удобное прикрытие.

Но сейчас, пока мы одни — я, темнота и бумага — я начну с самого начала. С того дня в Воронеже, когда шел снег, а я впервые открыл книгу без обложки.

Глава 1. Воронеж, 1971. Свеча

Снег падал на Воронеж медленно, тяжело, словно выполняя скучную государственную повинность. Крупные, влажные хлопья лепились к оконному стеклу общежития, на мгновение замирали, превращаясь в серую кашу, и сползали вниз, в темноту декабрьской ночи 1971 года. За окном, на площади, возвышался бронзовый Ленин. Его вытянутая рука указывала куда-то в сторону гастронома, крышу которого венчала пульсирующая неоновая надпись: «Планы партии — планы народа!». Буква «р» в слове «народа» перегорела, отчего лозунг приобретал странный, почти издевательский оттенок.

Я стоял у окна в конце длинного, тускло освещенного коридора четвертого этажа. Мне было девятнадцать лет. Я был студентом физического факультета Воронежского государственного университета, сыном инженера, комсомольцем и человеком, который последние полгода просыпался с отчетливым, физически ощутимым чувством тошноты от окружающей реальности.

Эта тошнота не имела отношения к диссидентству. Я не слушал «Голос Америки» сквозь глушилки, не перепечатывал запрещенные стихи на папиросной бумаге и не собирался бороться с режимом. Мой кризис был глубже и оттого безнадежнее. Он касался самой ткани бытия. На лекциях по квантовой механике и математическому анализу нам объясняли устройство вселенной — стройное, логичное, абсолютно материальное. Мир был набором частиц, полей и вероятностей. В нем не было места тайне. Все было измеримо, предсказуемо и, в конечном счете, невыносимо скучно.

Позади меня, за хлипкой дверью комнаты номер 412, шла обычная пятничная жизнь. Мои соседи, Витка и Сережа, глушили дешевый портвейн «Агдам», смешивая его с жигулевским пивом. Сквозь щель под дверью тянуло сизым дымом папирос «Беломорканал» и запахом жареной на сале картошки.

Там, в комнате, хрипел старый радиоприемник, кто-то фальшиво брал аккорды на расстроенной гитаре, и Витька громко, с матерком, доказывал преимущество советской космической программы над американской. Это был бытовой, привычный алкоголизм моих сверстников — не от горя, а от звенящей пустоты. От того, что будущее было расписано на пятьдесят лет вперед: распределение, НИИ, должность младшего научного сотрудника, очередь на стенку «Хельга», очередь на ковер, пенсия, смерть.

Я вышел в коридор, чтобы просто дышать. Воздух здесь был ледяным, пропитанным запахом хлорки и старой пыли. Батарея под окном едва теплилась. Я прислонился лбом к холодному стеклу, глядя на падающий снег, и чувствовал, как внутри меня разрастается глухая, черная дыра. Партийные лозунги, комсомольские собрания, бодрые марши из репродукторов — все это звучало как пустые гильзы, падающие на бетонный пол. В них не было пороха. В них не было жизни.

Я отвернулся от окна и пошел к лестничной клетке — единственному месту, где можно было курить в относительном одиночестве. Лампочка между третьим и четвертым этажами мигала, издавая тихое электрическое жужжание. На подоконнике, рядом с переполненной окурками консервной банкой из-под кильки в томате, лежал предмет.

Сначала я подумал, что это забытый кем-то конспект или справочник по сопромату. Я подошел ближе. Это была книга. Вернее, то, что от нее осталось. У нее не было обложки — ни передней, ни задней. Просто голый, беззащитный бумажный блок, прошитый суровой ниткой. Корешок высох и потрескался, обнажив желтый клей. Страницы были замусолены на углах, некоторые надорваны. Она выглядела как выброшенный кусок мусора, как вещь, потерявшая всякую ценность.

Я взял ее в руки. Она оказалась неожиданно тяжелой. Бумага была тонкой, почти папиросной, но плотной. От нее старым воском и чем-то неуловимо сладковатым — запахом времени, которого не было в нашем устремленном в светлое будущее мире.

Я открыл ее наугад, где-то ближе к началу. Свет мигающей лампочки выхватил из полумрака столбцы убористого текста. Шрифт был обычным, но

слова складывались в непривычные конструкции. Я опустил глаза на страницу и прочитал первую попавшуюся фразу.

«Видев народы, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзиши уста Свои, учил их, говоря: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».

Я замер. Лампочка над головой продолжала трещать, где-то на нижних этажах хлопнула дверь, но звуки словно отдалились, ушли на периферию сознания. Я перечитал эти три строчки снова. Потом еще раз.

Это была Нагорная проповедь. Я понял это не сразу, потому что никогда раньше не держал в руках Евангелие. В Советском Союзе 1971 года Библия не продавалась в обычных государственных книжных магазинах и оставалась почти недоступной для рядового человека. О ней упоминали только на лекциях по научному атеизму, цитируя вырванные из контекста куски, чтобы высмеять «опиум для народа». Наш преподаватель, тучный человек с потными руками и мертвыми глазами, любил повторять, что религия — это удел слабых, костыль для тех, кто не способен шагать в ногу с прогрессом.

Но текст, который я сейчас читал, не был похож на костыль. Он был похож на удар ножом.

«Блаженны плачущие...» В государстве, где я жил, плакать было не принято. Мы должны были радоваться. Радоваться перевыполнению плана, запуску нового спутника, решениям очередного съезда. Грусть, тоска, внутренний надлом считались почти идеологической диверсией, признаком мелкобуржуазного индивидуализма. Государство говорило с нами исключительно во множественном числе: «Мы построим», «Мы преодолеем», «Наш долг». Оно обращалось к массам, к коллективу, к классу.

А этот текст без обложки, найденный на грязном подоконнике рядом с окурками, говорил лично со мной. Он обращался не к студенту Кравцову, не к комсомольцу, не к будущему физику. Он обращался к той самой черной дыре внутри меня, к той пустоте, которую не могли заполнить ни формулы, ни портвейн, ни бодрые марши. Он говорил, что моя слабость, моя тоска, мое непонимание этого мира — это не дефект. Это точка отсчета.

Я перевернул страницу. Пальцы слегка дрожали.

«Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на поприще людям».

Слова обладали странной плотностью. В них не было канцелярской воды передовиц газеты «Правда». В них была абсолютная, бескомпромиссная власть. Я читал дальше, глотая строчки, стоя в холодном подъезде, и чувствовал, как рушится моя привычная картина мира. Физика учила меня, что каждое действие рождает противодействие. Государство учило меня, что врага нужно уничтожать. А текст на желтой бумаге говорил: *«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас...»*. Это было настолько контринтуитивно, настолько безумно с точки зрения любой земной логики, что в этом не могло не быть высшей правды. Ни один человек, желающий создать удобную идеологию для управления массами, не написал бы такого. Это было слишком неудобно. Слишком тяжело.

Внезапно снизу, с третьего этажа, послышались тяжелые шаги и пьяный смех. Кто-то поднимался по лестнице.

Моя реакция была мгновенной и инстинктивной. Я захлопнул книгу и резким движением засунул ее под свитер, прижав к животу. Холодная бумага обожгла кожу сквозь тонкую рубашку. Я отвернулся к окну, достал из кармана мятую сигарету и сделал вид, что ищу спички.

Мимо меня, пошатываясь, прошли двое старшекурсников. Один из них мутным взглядом скользнул по мне, кивнул и потащил товарища дальше, на пятый этаж.

Я остался один. Сердце колотилось где-то в горле. Я стоял и слушал, как затихают их шаги. И в этот момент, прижимая локтем спрятанное под одеждой Евангелие, я осознал нечто важное. Я испугался не того, что меня поймают за чтением религиозной литературы. В конце концов, за это не сажали в тюрьму — могли пропесочить на комсомольском бюро, лишить стипендии, в худшем случае отчислить.

Я испугался другого. Я испугался, что они увидят эту книгу. Что они коснутся ее своими пьяными взглядами, что они начнут ржать, цитировать ее

грязными ртами, что они превратят эти слова в очередной повод для сального анекдота. Я хотел защитить этот текст от них. От общежития. От неоновой вывески за окном. От всего этого мертвого, пластикового мира.

Я медленно пошел обратно по коридору. Дверь в 412-ю комнату была приоткрыта. Витька уже спал, уронив голову на стол прямо рядом с недоеденной картошкой. Сережа сидел на кровати, бессмысленно глядя в стену, и тихо мычал какую-то мелодию.

Я прошел к своей койке у окна. Не раздеваясь, лег на спину и натянул колючее шерстяное одеяло до подбородка. Осторожно, чтобы не шуршать страницами, я вытащил книгу из-под свитера и сунул ее под матрас, глубоко, к самой стене.

Жесткий край бумажного блока уперся мне в ребра сквозь тонкий ватный матрас. Это было физическое ощущение присутствия.

Я лежал в темноте, слушая храп Витьки и завывание ветра за окном. Впервые за девятнадцать лет моей жизни у меня появилось нечто, что принадлежало только мне. Не государству, не семье, не коллективу. Я создал свою первую зону умолчания. Крошечную территорию, куда не имел доступа ни один парторг, ни один преподаватель, ни один друг.

Я еще не знал тогда, что любая тайна имеет свою цену. Не знал, что этот первый шаг в тень, это первое сокрытие правды от окружающего мира станет тем самым навыком, который спустя годы сделает меня идеальным материалом для вербовки. Я думал, что прячу Бога от государства. Я не понимал, что начинаю прятать себя.

Снег за окном продолжал падать, засыпая бронзовые плечи вождя, крышу гастронома и пустые, промерзшие улицы Воронежа. Я закрыл глаза, чувствуя твердый край книги под ребрами, и впервые за долгое время уснул без чувства тошноты.

Глава 2. Первый приход

Январское утро выдалось глухим, бесцветным и обжигающе холодным. Воскресный Воронеж спал тяжелым сном, укрытый плотным слоем сизого тумана, сквозь который едва пробивался свет уличных фонарей. Я стоял на трамвайной остановке, переминаясь с ноги на ногу в промерзших ботинках, и ждал «семерку». Мое дыхание оседало инеем на воротнике пальто.

Решение пойти в действующий храм не было спонтанным. Оно зрело во мне несколько недель, наливаясь тяжестью, пугая и притягивая одновременно. Для студента физического факультета в начале семидесятых годов переступить порог церкви означало совершить акт социального самоубийства. Это не было проступком, который можно было списать на молодость или хулиганство. Это квалифицировалось как идеологическая диверсия против собственного будущего.

Я прекрасно знал правила игры. Наш комсорг, Валера Зубов, человек с цепким взглядом регулярно зачитывал на собраниях постановления о необходимости усиления атеистической работы среди молодежи. Попасться на глаза кому-то из знакомых возле церкви означало немедленный вызов на бюро ВЛКСМ, публичную проработку, лишение стипендии, а в перспективе — отчисление с волчьим билетом. Государство не запрещало верить законодательно, оно делало нечто более эффективное: оно превращало верующего в маргинала, в человека второго сорта, лишенного права на социальный лифт.

Трамвай подошел с лязгом и скрежетом. Вагон был почти пуст. Я сел на жесткое деревянное сиденье у замерзшего окна, процарапал ногтем небольшую амбразуру в толще льда и смотрел, как мимо проплывают серые коробки хрущевок, бетонные заборы заводов и кумачовые транспаранты, припорошенные снегом. Мой страх был физическим, липким. Он пульсировал в висках и сводил желудок. Несколько раз я порывался встать и выйти на следующей остановке, вернуться в теплое, безопасное, понятное небытие студенческих будней. Но какая-то неведомая сила, плотная и непреодолимая, удерживала меня на месте.

Покровский собор располагался в низине, словно спрятанный от глаз победившего пролетариата. Государство терпело его существование, но обставило это терпение максимальным унижением. К храму не вели широкие проспекты, он был зажат между безликими постройками, обнесен облупившейся оградой, а купола его давно потеряли свой блеск, сливаясь с пасмурным небом.

Я вышел на остановке и пошел пешком. Чем ближе я подходил к церковной ограде, тем сильнее становилось чувство, что я пересекаю невидимую, но смертельно опасную границу. У ворот стоял грузный мужчина в сером драповом пальто и надвинутой на брови ондатровой шапке. Он курил, лениво сплевывая в снег, и его взгляд, цепкий, профессионально-оценивающий, скользнул по моему лицу. Я опустил голову, надвинул шарф повыше и, стараясь не ускорять шаг, прошел мимо. Позже я узнаю, что такие люди дежурили у храмов постоянно — негласные наблюдатели, фиксирующие появление новых лиц, особенно молодых. Но тогда я просто почувствовал холодок между лопаток.

Тяжелая, обитая дерматином дверь поддалась с трудом. Я навалился на нее плечом, шагнул в притвор, и внешний мир с его лязгом трамваев, партийными лозунгами и липким страхом мгновенно отрезало.

Первое, что ударило по чувствам — это запах. Густой, многослойный, тысячелетний. Он состоял из аромата плавящегося пчелиного воска, сладковатого дыма ладана и сырости старых каменных стен. Этот воздух был настолько плотным, что казалось, его можно резать ножом.

Я остановился у самого входа, вжавшись спиной в холодную стену, боясь сделать лишнее движение. Мои глаза постепенно привыкали к полумраку, разрываемому лишь дрожащими язычками свечей перед потемневшими иконами.

И тут я увидел их. Прихожан.

Это было зрелище, которое потрясло меня не меньше, чем сам факт моего нахождения здесь. В огромном, гулком пространстве собора стояло около сотни человек. И среди них я не заметил ни одного моего ровесника. Почти ни одного лица, которое можно было бы встретить на доске почета передовиков производства или в президиуме собрания.

Храм был заполнен почти одними старушками.

Они стояли плотно. Сгорбленные спины, выцветшие плюшевые жакеты, грубые шерстяные платки, повязанные под подбородком, стоптанные валенки с галошами. Это был социальный срез, который советская власть давно списала со счетов. Женщины, пережившие коллективизацию, голод, войну, похоронки, послевоенную нищету. Государство вытеснило их на самую обочину жизни, оставив им лишь право тихо доживать свой век, не путаясь под ногами у строителей коммунизма.

Атмосфера социальной изоляции была почти осязаемой. Церковь в СССР начала семидесятых годов была настоящим гетто. Резервацией для тех, кто не вписался в светлое будущее. Я смотрел на эти лица, изрезанные глубокими морщинами, на их узловатые, натруженные руки, сжимающие тонкие желтые свечи, и понимал: они здесь не потому, что им нечего делать. Они здесь потому, что это единственное место на земле, где их боль, их потери и их надежды имеют смысл. Вне этих стен они были статистической погрешностью. Здесь они были солью земли.

Внезапно тишину разорвал голос. Низкий, бархатный, заполняющий собой каждый кубический сантиметр пространства.

— Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков!

Из боковой двери алтаря вышел священник. Я замер, пораженный его видом. В моей голове, воспитанной на карикатурах из журнала «Крокодил», поп должен был быть суетливым, хитрым и жалким. Но человек, стоявший сейчас на амвоне, разрушал все стереотипы.

Это была монументальная фигура. Высокий, широкоплечий старец с окладистой седой бородой, спадающей на грудь. На нем было тяжелое золотистое облачение, которое переливалось в свете свечей. Но поражало не облачение. Поражала его пластика, его манера держаться. В каждом его движении, неспешном, исполненном глубокого внутреннего достоинства, читалась абсолютная независимость от той реальности, что бушевала за стенами храма.

Он поднимал руки, произносил слова на непонятном, но завораживающе красивом церковнославянском языке, и в этом не было ни капли театральности. Он не играл роль. Он предстоял. В стране, где все суетились, выполняли планы, отчитывались, боялись начальства и лгали на собраниях, этот человек существовал в совершенно ином измерении. Он был подключен к источнику власти, перед которым меркли любые генеральные секретари и политбюро. Его монументальность была не от гордыни, а от осознания колоссальной тяжести того, что он сейчас совершал.

Хор на клиросе ответил протяжным «Аминь», и началась литургия.

Я не понимал ни смысла происходящего, ни порядка службы. Я просто стоял, вжавшись в стену, и смотрел. Старухи вокруг меня крестились, делали поясные поклоны, иногда опускались на колени и снова вставали. Их движения были почти синхронными, как дыхание единого организма.

И вдруг со мной начало происходить нечто странное.

Сначала это было похоже на спазм в горле. Я попытался сглотнуть, но ком стал только плотнее. Затем грудную клетку сдавило так, словно из помещения выкачали весь кислород. Я почувствовал, как к глазам приливает жар. Я, девятнадцатилетний студент, комсомолец, человек, который гордился своим рациональным, математическим складом ума, стоял в полутемном храме среди чужих старух и плакал.

Это не были слезы умиления или жалости к себе. Это была чистая, неконтролируемая физиологическая реакция. Слезы текли по щекам, обжигая холодную кожу, капали на воротник пальто, а я даже не пытался их вытереть. Я боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть то, что сейчас обрушилось на меня.

Это было ощущение абсолютной, сокрушительной подлинности.

Вся моя предыдущая жизнь — лекции по диалектическому материализму, бодрые марши из репродукторов, комсомольские клятвы, пьяные разговоры в общежитии — всё это в одно мгновение предстало передо мной как гигантская, искусно выстроенная декорация из папье-маше. Картонный мир, в котором люди договорились играть в счастье. А здесь, в этом пропахшем воском и сыростью гетто, среди отверженных и забытых, пульсировала настоящая жизнь. Здесь не было лжи, потому что перед лицом вечности лгать бессмысленно.

Священник вышел с чашей. Старухи потянулись к нему, сложив руки на груди крестом. Я смотрел на их лица. В них не было фанатизма. В них была тихая, выстраданная уверенность людей, которые знают нечто такое, чего никогда не поймут профессора на моей кафедре.

Я простоял так около двух часов. Ноги затекли от холода, спина ныла от неудобной позы, но я не замечал физического дискомфорта. Внутри меня происходил тектонический сдвиг. Та черная дыра, та пустота, которая мучила меня последние месяцы, начала заполняться. Не ответами — ответов я еще не знал. Она заполнялась присутствием.

Когда служба закончилась и люди начали медленно расходиться, прикладываясь к кресту в руках священника, я понял, что мне пора уходить. Подойти к кресту я не решился. Мой статус тайного наблюдателя, человека, стоящего на пороге, еще не позволял мне сделать этот шаг.

Я осторожно отлепился от стены. Старушка в черном платке, проходившая мимо, случайно задела меня плечом. Она подняла на меня выцветшие, почти прозрачные глаза, в которых отразилось легкое удивление — молодое лицо здесь было редкостью.

— Спаси Господи, сынок, — тихо сказала она и перекрестила меня мелким, быстрым крестом.

Я ничего не ответил. Просто кивнул и толкнул тяжелую дверь.

Морозный воздух ударил в лицо, мгновенно высушив влажные дорожки на щеках. Я вышел за ограду. Мужчины в сером пальто уже не было. Воронеж просыпался, по улице с грохотом проехал грузовик, где-то вдалеке заиграла музыка из уличного репродуктора. Мир остался прежним.

Но я изменился.

Я шел к трамвайной остановке, засунув руки глубоко в карманы. На правом рукаве моего пальто, у самого манжета, застыла маленькая, желтая капля воска. Я скосил ее ногтем, растер между пальцами, вдыхая сладковатый запах, и понял одну простую, пугающую вещь. Я больше не смогу жить так, как жил раньше. Я увидел свет, и теперь любая попытка закрыть глаза будет предательством самого себя.

Я стоял на остановке, глядя на приближающийся трамвай, и чувствовал, как в кармане пальто мои пальцы сжимают этот крошечный кусочек воска — единственное материальное доказательство того, что последние два часа мне не приснились.

Глава 3. Отец Варлаам

Деревянная сторожка при Покровском соборе отапливалась углем. Этот запах — едкий, густой, с примесью тлеющей бересты и старой заварки — стал для меня запахом моего второго, тайного рождения. Всю зиму и весну 1972 года я приходил сюда вечерами, пробираясь дворами, чтобы миновать освещенные улицы и случайные взгляды сокурсников.

Я стучал в низкую дверь три раза. Засов отодвигался с тяжелым металлическим скрежетом, и на пороге появлялся отец Варлаам.

Ему было семьдесят лет, но возраст в его случае измерялся не годами, а эпохами, которые оставили на его теле свои физические отпечатки. Он был сутул, его левое плечо заметно кренилось вниз — следствие застарелого перелома ключицы, сросшейся неправильно где-то на лесоповале. Пальцы на его руках были узловатыми, с утолщенными суставами, а кожа на них напоминала пергамент, навсегда потемневший от въевшейся земли и махорки. Он носил старый, выцветший до серости подрясник и стоптанные войлочные сапоги.

Варлаам не был тем монументальным священником, которого я увидел в алтаре в свой первый приход. Он был заштатным иеромонахом, жившим при храме, человеком, чье существование советская власть терпела исключительно из-за его физической немощи и преклонного возраста. Государство считало его безопасным реликтом. Государство ошибалось.

Внутри сторожки стоял полумрак. Единственная лампочка под потолком была обернута куском пожелтевшей газеты, чтобы свет не бил в глаза. Мы садились у раскаленной чугунной печки-буржуйки. Варлаам наливал в

железные кружки жидкий, почти прозрачный чай, и начинались наши разговоры.

Он никогда не читал мне проповедей. В его речи отсутствовал тот елейный, искусственно-возвышенный тон, который я позже так часто встречал в церковной среде. Варлаам говорил тихо, рублеными фразами, часто делая длинные паузы, во время которых было слышно только гудение огня в печи. Он передавал мне не теологию. Он передавал мне технологию выживания духа в условиях тотального давления.

Его биография была типичной для духовенства его поколения, и оттого еще более страшной. Первый арест в тридцать седьмом. Обвинение в антисоветской агитации, десять лет лагерей. Он строил дороги в мерзлоте, валил лес, замерзал в бараках, где по утрам волосы примерзали к доскам нар. В сорок седьмом он вышел, попытался вернуться к служению в крошечном приходе под Вологдой. А в начале шестидесятых, когда Хрущев пообещал показать по телевизору «последнего попа», за Варлаамом пришли снова.

— Хрущевские гонения были другими, Коля, — говорил он, глядя на тлеющие угли. — При Сталине нас просто уничтожали физически. Как класс. Как вредных насекомых. Это было страшно, но в этом была понятная, звериная логика. А при Никите Сергеевиче они решили уничтожить нас морально. Они хотели, чтобы мы сами отказались от себя.

Варлаам рассказывал о следователе в шестьдесят первом году. Молодой, образованный парень в хорошем костюме, который не бил его, не кричал, а вежливо предлагал подписать бумагу о сложении сана и публичном отречении в местной газете. Взамен предлагалась спокойная старость, пенсия, комната в коммуналке.

— Он искренне не понимал, почему я отказываюсь, — Варлаам усмехнулся, и в уголках его глаз собрались глубокие морщины. — Он говорил: «Гражданин, вы же умный человек. Бога нет, Гагарин в космос летал, никого там не видел. Зачем вы цепляетесь за эти сказки? Вы же сгниете в лагере». А я смотрел на него и видел, что он абсолютно пуст. В нем не было ничего, кроме инструкций. И я понял: если я подпишу эту бумагу, я стану таким же пустым. Я отдам им единственное, что делает меня живым.

Варлаам отправился в лагерь для политических. Еще пять лет. Именно там, в изоляторе, куда его бросили на пятнадцать суток за отказ выйти на работу в день Пасхи, он обрел то, что называл своим главным духовным опытом.

— Там я узнал молчание, — произнес он однажды вечером, когда за окном выла февральская метель. — Настоящее молчание, в котором Бог слышен лучше, чем в любом храме.

Я подался вперед, боясь пропустить хоть слово.

— Понимаешь, Коля, — продолжал старик, медленно потирая искалеченные суставы. — Когда у тебя забирают всё: свободу, одежду, имя, когда вместо имени у тебя номер на бушлате, когда у тебя нет ни Евангелия, ни креста, ни возможности произнести молитву вслух — что у тебя остается? Государство думает, что не остается ничего. Что человек превращается в кусок мяса, послушный страху. Но они не знают одной тайны. Когда внешнее замолкает, внутри открывается пространство, куда не может войти ни один надзиратель.

Он замолчал, отпил остывший чай.

— Настоящее молчание — это не отсутствие звука. Это присутствие. Это крепость. Я сидел в бетонном мешке, температура чуть выше нуля, пайка — триста граммов хлеба и вода. Физически я умирал. Но внутри меня шла непрерывная литургия. Я служил ее в уме. Я вспоминал каждое слово, каждое песнопение. И стены изолятора раздвигались. Я был свободнее, чем начальник лагеря, который ходил снаружи с пистолетом. Потому что его свобода зависела от приказа из Москвы, а моя свобода не зависела ни от кого.

Эти слова падали в мое сознание, как тяжелые камни в глубокий колодец. Днем я сидел на лекциях по термодинамике и математическому анализу. Я слушал профессоров, которые чертили на досках стройные формулы, описывающие законы сохранения энергии и возрастания энтропии. Советская наука предлагала абсолютно детерминированный мир. Мир, в котором все было предсказуемо, измеримо и конечно.

Но глядя на исписанные мелом доски, я думал о Варлааме в бетонном карцере. Никакая физика не могла объяснить, как человек, лишенный тепла, еды и надежды, не просто выживает, но сохраняет в себе колоссальный источник внутреннего света. Советская система была огромной машиной по производству

энтропии — она стремилась привести общество к однородной, серой, послушной массе. А вера Варлаама была антиэнтропийной силой. Она создавала смысл там, где по всем законам материализма должно было наступить небытие.

Моя двойная жизнь становилась невыносимой. Разрыв между тем, что я делал днем, и тем, чем я жил вечером, стремительно увеличивался.

В апреле 1973 года на факультете проходило открытое комсомольское собрание. Обсуждали персональное дело одного из студентов, который был замечен в чтении самиздата. Я сидел в заднем ряду душной аудитории. На трибуне стоял секретарь комитета комсомола, чеканя правильные, мертвые слова о бдительности, о долге советского студента, о тлетворном влиянии Запада. Зал слушал в полудреме. Никто не верил ни единому слову оратора, включая самого оратора. Это был ритуал лояльности, пустая форма, которую нужно было соблюсти, чтобы получить стипендию и распределение.

Я смотрел на лица своих однокурсников. Хорошие, умные ребята. Но в их глазах была та самая пустота, о которой говорил Варлаам, вспоминая следователя. Они были готовы согласиться с чем угодно, лишь бы их оставили в покое.

В тот момент я физически ощутил, что задыхаюсь. Воздух в аудитории казался отравленным. Я встал, не дожидаясь конца собрания, и вышел в коридор. Секретарь на трибуне запнулся, несколько человек обернулись, но мне было уже все равно.

Я шел по весенним улицам Воронежа. Снег таял, превращаясь в грязную жижу, в лужах отражалось бледное небо. Мое решение созрело не в голове, а где-то в области солнечного сплетения. Оно было твердым, как сжатый кулак.

Вечером я пришел к Покровскому собору. Варлаам колот дрова за сторожкой. Увидев меня, он воткнул топор в колоду и вытер лоб рукавом подрясника.

— Я ухожу с физфака, — сказал я, остановившись в нескольких шагах от него. Мой голос прозвучал резче, чем я ожидал.

Варлаам не выразил ни удивления, ни радости. Он медленно подошел ко мне, его выцветшие глаза внимательно изучали мое лицо.

— Куда? — коротко спросил он.

— В семинарию. Я хочу стать священником.

Повисла долгая тишина. Где-то на улице просигналил грузовик, с крыши собора сорвалась и разбилась о землю тяжелая капля талой воды. Я ждал, что старец обнимет меня, благословит, скажет слова поддержки. Но его лицо оставалось суровым, почти жестким.

— Ты думаешь, это романтика, Коля? — тихо произнес он. — Думаешь, ты сейчас совершаешь великий подвиг, бросая вызов системе?

— Я просто хочу служить Богу, а не им, — я кивнул в сторону улицы, подразумевая весь окружающий советский мир.

Варлаам покачал головой. Он взял меня за локоть своей искалеченной рукой. Хватка у него была железной.

— Слушай меня внимательно, студент. Ты думаешь, что граница между светом и тьмой проходит по ограде этого храма. Что там, за забором — ложь, а здесь — чистая правда. Это опасная иллюзия.

Он отпустил мою руку и отвернулся, глядя на потемневшие купола.

— В лагере было проще. Там враг был понятен. У него была форма, овчарки и вышка с пулеметом. А сейчас... Сейчас они действуют тоньше. Они поняли, что нас нельзя уничтожить снаружи. Поэтому они пытаются уничтожить нас изнутри. Они приходят с улыбками. Они предлагают компромиссы. Они говорят: «Служите своему Богу, только помогите нам немного».

Варлаам повернулся ко мне. В его взгляде была тяжесть человека, который знает о человеческой природе слишком много страшного.

— Если ты пойдешь по этому пути, Коля, твой главный враг будет не в кабинетах уполномоченных Совета по делам религий. Твой главный враг будет в зеркале. Тебе придется каждый день выбирать между правдой и удобством. Между настоящим молчанием и предательским словом. И никто не сможет сделать этот выбор за тебя. Ни я, ни архиерей, ни сам Господь Бог.

Он замолчал. Ветер шевелил его седую бороду.

— Ты готов к тому, что тебя будут ломать?

Я стоял перед ним, молодой парнишка, уверенный в своей правоте и силе. Я не знал тогда ни о кураторах в серых костюмах, ни о подписках о сотрудничестве, ни о том, как легко человек убеждает себя в необходимости малого зла ради большого блага. Я думал, что моя вера — это непробиваемый щит.

— Я готов, отец Варлаам, — твердо ответил я.

Старик смотрел на меня еще несколько секунд. В его глазах мелькнуло что-то похожее на глубокую, неизбывную печаль. Затем он медленно поднял правую руку, сложил пальцы для благословения и опустил тяжелую, пахнущую землей и деревом ладонь на мою голову.

— Дай Бог, сынок, — едва слышно произнес он. — Дай Бог.

Его рука лежала на моих волосах, и в этот момент я почувствовал, как невидимая черта пролегла через мою жизнь, навсегда отрезая путь назад. Я сделал свой выбор. Я шагнул на территорию, где ставки измерялись не карьерой и не свободой, а самой вечностью.

Я только не знал, что дьявол всегда принимает те ставки, которые мы считаем самыми надежными.

Глава 4. Семинария

Лето 1974 года выдалось в Москве душным. Я сидел на жестком стуле с дерматиновым сиденьем, чувствуя, как рубашка липнет к спине, и смотрел на массивную дубовую дверь с табличкой. За этой дверью решалось, переступлю ли я порог духовной семинарии.

Процедура поступления в духовную школу в те годы была выстроена с издевательской, почти садистской логикой. Церковь не имела права самостоятельно решать, кого ей принимать в свои стены. Каждый абитуриент, прежде чем сдать экзамены по Священной истории или церковному уставу, обязан был пройти собеседование с государственным чиновником —

уполномоченным Совета по делам религий. Это был первый и самый главный фильтр. Государство, официально провозгласившее атеизм своей идеологией, скрупулезно отбирало кадры для института, который обещало уничтожить.

Рядом со мной в приемной сидели еще трое. Один — совсем мальчишка, бледный, с тонкими пальцами, непрерывно теребивший пуговицу на пиджаке. Двое других были старше, с лицами, на которых уже отпечатались какая-то тяжелая, бытовая усталость. Мы не разговаривали. В этом пространстве любое брошенное слово казалось небезопасным.

Дверь скрипнула, из кабинета вышел грузный мужчина, вытирая лоб скомканным носовым платком. Он не посмотрел на нас, просто быстро пошел по коридору к лестнице. Секретарша, женщина с высокой прической и скучающим взглядом, сухо произнесла: — Кравцов. Заходите.

Кабинет уполномоченного был просторным и светлым. За Т-образным столом сидел человек лет пятидесяти, в светлом летнем костюме без галстука. Его звали Геннадий Ильич. На стене за его спиной висел стандартный портрет Ленина, на столе громоздились стопки папок. Никаких икон, никаких крестов. Абсолютно светское, стерильное пространство власти.

— Присаживайтесь, Николай Сергеевич, — сказал он, открывая зеленую картонную папку. Я узнал ее — это было мое личное дело, пересланное из Воронежа.

Я сел на стул для посетителей. Геннадий Ильич долго изучал бумаги, водя по строчкам толстым пальцем с аккуратно подстриженным ногтем. Тишина затягивалась. Это был классический прием подавления, и я, несмотря на свою молодость, прекрасно его считывал.

— Интересная у вас биография, Кравцов, — наконец произнес он, откинув обложку папки. — Студент физического факультета. Комсомолец. Хорошие оценки. Перспективы. И вдруг — заявление об отчислении по собственному желанию. И куда? В семинарию.

Он поднял на меня глаза. В них не было ни злобы, ни идеологической ненависти. В них был холодный, оценивающий прагматизм зоотехника, осматривающего новый скот.

— Вы ведь понимаете, Николай Сергеевич, что наше общество строит коммунизм. Религия — это пережиток прошлого. Уходя в церковь, вы ставите крест на своей социальной жизни. Вы добровольно уходите на обочину. Зачем вам это?

— Я верующий человек, — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Я хочу служить Церкви.

Геннадий Ильич усмехнулся. Это была короткая, сухая усмешка человека, который слышал эту фразу тысячу раз.

— Служить Церкви... Красиво звучит. Но Церковь, Кравцов, находится на территории Советского Союза. И она обязана соблюдать советские законы. Нам не нужны там фанатики. Нам не нужны кликуши и диссиденты. Нам нужны здравомыслящие люди, которые понимают политический момент.

Он встал из-за стола, подошел к окну и заложил руки за спину.

— Я смотрю ваше дело. Вы чисты. Ни приводов в милицию, ни пьянок, ни аморалки. Семья интеллигентная. Это, с одной стороны, хорошо. А с другой... — он повернулся ко мне, и его взгляд стал цепким, почти физически ощутимым. — С другой стороны, идеальных людей не бывает. У каждого есть слабость. Тщеславие. Желание комфорта. Обиды.

В тот момент я еще не мог сформулировать это академическим языком, но я кожей почувствовал суть государственной политики в отношении Церкви. Спустя годы один из высокопоставленных чиновников этого самого Совета по делам религий открыто признается, что система десятилетиями заботилась о том, чтобы на наиболее значимые церковные должности назначались люди морально уязвимые, скомпрометированные, имеющие тайные пороки. Ими было легко управлять. Их можно было держать на коротком поводке страха перед разоблачением.

Геннадий Ильич искал во мне этот изъян. Ему не нужен был святой. Ему нужен был человек, которого можно будет в нужный момент дернуть за ниточку. Моя «чистота» его раздражала, она делала меня непредсказуемым. Но мой уход из университета был актом социального отщепенства, и это давало ему надежду, что я просто ищу другую карьерную лестницу, раз уж сломал первую.

— Мы пропустим вас, Кравцов, — сказал он, возвращаясь к столу и закрывая папку. — Учитесь. Но помните: мы внимательно следим за тем, что происходит в духовных школах. Государство доверяет вам, позволяя получить это образование. Постарайтесь это доверие оправдать.

Я вышел из кабинета с чувством липкой грязи на руках, хотя ни к чему не прикасался. Разрешение было получено, но цена этого разрешения оставалась неясной.

В сентябре 1974 года я приехал в Загорск. Троице-Сергиева лавра встретила меня колокольным звоном, запахом ладана и строгой красотой древних соборов. После серых улиц Воронежа и казенных коридоров московских министерств это место казалось ожившей фреской, осколком потерянной Святой Руси. Я был счастлив. Я надел черный подрясник, получил место в общежитии и с головой погрузился в учебу.

Но эйфория рассеялась быстро. Семинария оказалась не монастырем из древних патериков, а сложной, закрытой экосистемой, пропитанной невидимым, но постоянным напряжением.

Первое, что бросилось в глаза — это поведение преподавателей. Большинство из них были блестяще образованными людьми, носителями старой академической традиции. На лекциях по догматическому богословию, патрологии или церковной истории они говорили правильные, глубокие, теологически выверенные слова. Они цитировали Иоанна Златоуста и Василия Великого, рассуждали о природе Божественного света и свободе человеческой воли.

Но я начал замечать странный диссонанс между тем, что они говорили, и тем, как они смотрели.

Это произошло на лекции по истории Русской Церкви. Профессор, пожилой протоиерей с тихим, надтреснутым голосом, рассказывал о синодальном периоде. Один из студентов, парень из Сибири по имени Алексей, поднял руку и задал вопрос о репрессиях двадцатых годов — теме, которая официально не существовала в учебном плане.

— Отец профессор, а как Церковь должна относиться к власти, которая физически уничтожает ее епископов? — спросил Алексей.

В аудитории повисла мертвая тишина. Я смотрел на профессора. Его лицо, секунду назад одухотворенное и спокойное, внезапно окаменело. Глаза, спрятанные за толстыми стеклами очков, начали быстро, настороженно сканировать ряды студентов. Он не смотрел на Алексея. Он смотрел на остальных. Он оценивал, кто как отреагировал на вопрос, кто записывает, кто отводит взгляд. В его глазах был животный, неконтролируемый страх.

— Церковь, — произнес профессор сухим, казенным тоном, лишенным всяких интонаций, — всегда руководствуется словами апостола Павла о том, что нет власти не от Бога. Трагические события прошлого не должны омрачать нашего понимания симфонии между государством и верующими в настоящем. Перейдем к следующей теме.

Он больше ни разу за лекцию не поднял глаз на аудиторию.

Этот настороженный, оценивающий взгляд я стал замечать повсюду. Преподаватели боялись студентов. Студенты боялись преподавателей. И, что самое страшное, студенты боялись друг друга.

Атмосфера недоверия формировалась не приказами, а полунамеками, случайными оговорками и густыми, как туман, слухами. В нашей комнате в общежитии жил третьекурсник Павел — высокий, худой парень из семьи потомственных священников. Он держался особняком, много читал и редко участвовал в общих разговорах.

Однажды вечером, в конце ноября, когда мы вдвоем дежурили по уборке коридора, Павел подошел ко мне вплотную. В руках у него была мокрая тряпка, от воды шел пар.

— Ты слишком громко рассуждаешь о свободе воли на семинарах, Коля, — тихо сказал он, глядя в пол.

— Это же богословие, Паша. Мы для этого здесь и учимся.

Павел выжал тряпку в оцинкованное ведро. Звук падающей воды гулко разнесся по пустому коридору.

— Богословие заканчивается там, где начинается разговор с куратором, — произнес он, не поднимая головы. — Ты думаешь, мы здесь одни? Ты думаешь,

тот человек в Москве, который подписывал твое разрешение, просто поставил печать и забыл о тебе?

Он выпрямился и посмотрел мне прямо в глаза.

— Многие из тех, кто сидит с тобой за одной партой, регулярно ходят на беседы. В город. В неприметные кабинеты. Они пишут отчеты. О том, кто что сказал. Кто какую книгу читает. Кто слушает западные радиостанции. Кто чем недоволен.

— Откуда ты знаешь? — я почувствовал, как по спине пробежал холодок.

— Знаю, — горько усмехнулся Павел. — В прошлом году отчислили двоих ребят с моего курса. За «несоответствие духу духовной школы». А за неделю до этого один наш общий знакомый, очень благочестивый брат, который громче всех поет на клиросе, случайно обронил фразу, которую те двое сказали только в своей комнате, при закрытых дверях.

Павел снова наклонился к ведру.

— Здесь нельзя верить никому, Коля. Ни благообразным старцам, ни соседу по комнате. Система не оставляет слепых зон. Если ты хочешь дойти до рукоположения, научись держать язык за зубами. Иначе тебя сожрут твои же братья во Христе.

В ту ночь я долго не мог уснуть. Я лежал на своей узкой железной койке, слушая ровное дыхание семерых моих соседей. Сквозь незашторенное окно падал бледный свет уличного фонаря, выхватывая из темноты контуры черных подрясников, висящих на спинках стульев.

Я смотрел на эти рясы, символизирующие отречение от мира, и понимал страшную вещь. Мир никуда не исчез. Он проник сюда, под своды древней Лавры, переоделся в черные одежды, выучил церковнославянский язык и теперь методично, изо дня в день, разъедал души тех, кто пришел сюда искать спасения.

Государство не просто контролировало Церковь снаружи. Оно выращивало внутри нее свою собственную породу людей — послушных, напуганных, готовых предать ближнего ради хорошего прихода или возможности съездить в

заграничную командировку. И я, молодой идеалист, оказался в самом центре этого инкубатора.

Я повернул голову и посмотрел на спящего на соседней койке студента. Это был тихий, улыбчивый парень из Рязани, который всегда первым предлагал помощь и знал наизусть половину Псалтири. Я смотрел на его спокойное, расслабленное во сне лицо, и в моей голове пульсировал только один вопрос: какие слова он напишет обо мне в своем следующем отчете?

Глава 5. Первый визит

К весне 1976 года я носил сан диакона. Мне было двадцать четыре года, и моя жизнь казалась мне выстроенной, защищенной толстыми стенами Троице-Сергиевой лавры и строгим ритмом богослужений. Физическое ощущение двойного ораря на плече, тяжесть парчового облачения, гулкое эхо собственного голоса под сводами академического храма — все это создавало иллюзию абсолютной безопасности. Я произносил ектении, стоя на амвоне, смотрел на море молящихся лиц и верил, что самое трудное позади.

Я прошел проверки, пережил косые взгляды бывших однокурсников по физфаку, выдержал давление уполномоченного. Я считал себя победителем. Моя юношеская гордыня, искусно замаскированная под благочестие, шептала мне, что я переиграл советскую власть. Я думал, что нашел слепую зону в государственном надзоре, уютную нишу, где можно служить вечности, игнорируя время.

Это было опасное, пьянящее заблуждение. Я не понимал главного: система никогда не забывает тех, кто однажды попал в ее картотеки. Она просто умеет ждать.

Встреча произошла в конце мая, в один из тех прозрачных, теплых дней, когда воздух над куполами Лавры дрожит от нагретого камня. После утренней литургии ко мне подошел дежурный помощник инспектора семинарии. Он отвел глаза в сторону и тихо, почти скороговоркой, произнес: — Отец Николай,

зайдите в четырнадцатую комнату административного корпуса. Вас там ожидают.

Четырнадцатая комната обычно использовалась для размещения приезжих архиереев или важных гостей из патриархии. Это было просторное, светлое помещение с высокими окнами, массивным дубовым столом и тяжелыми портьерами.

Я толкнул дверь. За столом сидел человек.

В нем не было ничего демонического. Никаких кожаных плащей, никаких пронзительных взглядов исподлобья. Это был мужчина лет сорока, одетый в хороший, но неброский светло-серый костюм. У него были мягкие, ухоженные руки, аккуратная стрижка и лицо, которое невозможно запомнить — лицо идеального пассажира в купе поезда, с которым можно проговорить всю ночь и наутро забыть его имя.

Он встал мне навстречу, улыбаясь так, словно мы были старыми добрыми знакомыми.

— Здравствуйте, Николай Сергеевич. Или теперь правильнее обращаться «отец диакон»? — Его голос был бархатным, располагающим, с легкой, почти домашней хрипотцой. — Проходите, присаживайтесь. Меня зовут Юрий Александрович.

Я сел на стул напротив него.

— Не буду отнимать у вас много времени, — начал он, пододвигая ко мне чашку. — Я представляю органы государственной безопасности. Пятое управление. Вы, конечно, человек умный, с неоконченным высшим светским образованием, и прекрасно понимаете, что мы внимательно следим за тем, что происходит в духовных школах.

Он сделал паузу, отпил чай, всем своим видом демонстрируя спокойствие и миролюбие. Это была классическая, отточенная годами методика работы по церковной линии. Они давно отказались от прямых угроз, ночных арестов и выбивания зубов в подвалах. Их новым оружием стала патриотическая риторика, псевдодружелюбие и апелляция к здравому смыслу. Они приходили не как палачи, а как старшие товарищи, обремененные заботой о благе государства.

— Мы знаем, что вы любите Родину, Николай Сергеевич, — продолжил Юрий Александрович, глядя мне прямо в глаза. — Мы внимательно изучали ваше дело. Вы — честный человек. Искренне верующий. Мы это уважаем. Времена изменились, мы больше не боремся с религией как таковой. У нас общая цель — мир, стабильность и процветание нашего общества.

Он говорил гладко, слова лились без малейшего напряжения.

— Но вы же видите, какая сейчас сложная международная обстановка. В Лавру постоянно приезжают иностранные делегации. Журналисты, дипломаты, представители различных конфессий. Среди них есть люди, которые приезжают сюда не молиться. Они ищут здесь повод для провокаций. Ищут недовольных, пытаются передать антисоветскую литературу, собирают слухи, чтобы потом очернить нашу страну на Западе.

Он подался вперед, сложив руки на столе.

— Нам нужна ваша помощь. Небольшая, разовая. Вы общаетесь со студентами, вы видите гостей. Нам не нужны доносы, Боже упаси. Нам нужна просто объективная картина. Разговор умного человека с умными людьми. Если вы заметите что-то странное, чьи-то нездоровые интересы — просто поделитесь с нами. Это ваш гражданский долг. Защита Церкви от политических провокаторов.

Я слушал его, и внутри меня росло странное чувство. Это был не страх. Это было физическое отторжение, похожее на тошноту. Его слова звучали логично, правильно, но за этим гладким фасадом скрывалась абсолютная, ледяная пустота. Он предлагал мне стать соучастником, прикрывая предательство заботой о Родине.

Я вспомнил долгие вечера в воронежской сторожке. Вспомнил искалеченные руки отца Варлаама и его слова о том, что дьявол приходит с улыбкой и предлагает компромиссы.

— Я не смогу вам помочь, Юрий Александрович, — сказал я. Мой голос прозвучал неожиданно твердо, хотя ладони под столом стали влажными.

Мужчина в сером костюме перестал улыбаться, но в его лице не появилось ни гнева, ни раздражения. Он просто смотрел на меня, ожидая продолжения.

— Мой долг как диакона — служить у алтаря и молиться, — произнес я, тщательно подбирая слова. — Я не обладаю ни навыками, ни желанием наблюдать за людьми с той целью, о которой вы говорите. Это противоречит моим убеждениям.

Повисла тишина. С улицы донесся приглушенный звон колокола, созывающего монахов на трапезу. Я ждал удара. Ждал, что сейчас его тон изменится, что он начнет кричать, угрожать отчислением, вспоминать мое комсомольское прошлое. Я внутренне сжался, готовясь к защите.

Но удара не последовало.

Юрий Александрович медленно откинулся на спинку стула. На его лице снова появилась мягкая, понимающая улыбка. Он вздохнул, словно учитель, столкнувшийся с упрямым, но способным учеником.

— Что ж, Николай Сергеевич. Я вас услышал. — Он поднялся из-за стола, аккуратно задвинул стул. — Мы никого не принуждаем. Сотрудничество с нами — дело сугубо добровольное. Мы уважаем вашу позицию.

Он протянул мне руку. Я, помедлив секунду, пожал ее. Его ладонь была сухой и теплой.

— Всего доброго, отец диакон. Успехов вам в учебе.

Он вышел из комнаты, тихо притворив за собой дверь.

Я остался один. Сердце колотилось о ребра, но вместе с тем меня накрыла огромная, теплая волна облегчения. Я сделал это. Я сказал им «нет», и небо не рухнуло. Меня не арестовали, не лишили сана, не выгнали из семинарии. Система оказалась не такой уж всесильной. Достаточно было проявить твердость, опереться на свою веру, и они отступили.

В тот день я ходил по территории Лавры с высоко поднятой головой. Я чувствовал себя исповедником, человеком, который выдержал испытание и сохранил чистоту риз. Я был уверен, что инцидент исчерпан.

Прошло лето. Начался новый учебный год. Я погрузился в написание курсовой работы по литургике, служил, читал, молился. Визит человека в сером костюме стал казаться мне незначительным эпизодом, проверкой на прочность, которую я с блеском прошел.

А в ноябре пришла новость из Воронежа.

Я встретил в коридоре академии земляка, студента первого курса, который только что вернулся из дома после коротких каникул. Мы разговорились о знакомых священниках, о новостях епархии.

— А отца Варлаама-то перевели, — как бы между прочим сказал он, поправляя воротник подрясника.

Я замер.

— Куда перевели? Он же за штатом при Покровском соборе. Ему семьдесят четыре года, он еле ходит.

Земляк пожал плечами, понизив голос:

— Указ архиерея пришел внезапно, в конце сентября. Назначили настоятелем в село Глухое, на самом краю области. Там приход мертвый. Храм наполовину разрушен, крыша течет, отопления нет. Три бабки на всю деревню. Говорят, уполномоченный надавил на владыку. Приказал убрать старика с глаз долой из областного центра.

Я стоял посреди шумного семинарского коридора, мимо меня спешили на лекции студенты, хлопали двери аудиторий, а я чувствовал, как ледяной холод поднимается от ног к животу.

Село Глухое. Без отопления. С больными легкими и переломанными в лагерях костями. Для Варлаама это был не просто перевод. Это была административная расправа. Медленная, узаконенная казнь через воспаление легких и нищету.

И я точно знал, когда именно был подписан этот приговор. Он был подписан в тот самый момент, когда я сидел в четырнадцатой комнате, пил чай с песочным печеньем и гордо заявлял о своих принципах.

Через две недели я получил письмо.

Оно пришло в обычном советском конверте за четыре копейки. Адрес был написан знакомым, угловатым почерком человека, чьи пальцы плохо слушаются из-за артрита. Я ушел в свою комнату, дождался, пока соседи уйдут на вечернее правило, сел на кровать и вскрыл конверт.

Внутри лежал один тетрадный листок в клетку. Никаких долгих приветствий, никаких жалоб на здоровье или бытовые условия. Только несколько строк, написанных бледными фиолетовыми чернилами.

«Молись за меня, сынок. И будь осторожен — не с людьми. С собой».

Я смотрел на эти буквы, и они расплывались перед глазами.

В этот момент рухнула моя иллюзия собственной неуязвимости. Я понял, как на самом деле работает Пятое управление. Они не стали бить меня. Зачем? Наказывать молодого, упрямого идеалиста — значит делать из него мученика, укреплять его в вере, давать ему повод для духовной гордости.

Они ударили туда, где я был не защищен. Они ударили по человеку, который привел меня к Богу.

Это была безупречная, дьявольски точная математика. Система показала мне причинно-следственную связь. Она продемонстрировала, что моя личная чистота, мое красивое, гордое «нет» оплачивается чужой кровью. Они взяли старика, прошедшего сталинские лагеря, и бросили его умирать в холодную грязь только для того, чтобы преподать урок одному строптивому диакону в Загорске.

Я сидел на узкой железной койке, сжимая в руках тетрадный листок. За окном сгущались ранние ноябрьские сумерки. В комнате было тихо, только мерно тикали дешевые часы на тумбочке.

Я думал о том, что прямо сейчас, в эту самую минуту, в сотнях километров отсюда, старый монах с искалеченным плечом пытается растопить сырую печь в промерзшей деревенской избе. И он делает это потому, что я захотел остаться чистеньким.

Слова из письма жгли руки. *«Будь осторожен с собой».* Варлаам все понял. Он знал, за что его сослали. И он не проклинал их. Он предупреждал меня о самом страшном враге — о моем собственном чувстве вины, которое они теперь будут использовать.

Я аккуратно сложил листок вчетверо и спрятал его на дно чемодана, под стопку чистых рубашек. Я лег на спину и уставился в белый, потрескавшийся потолок. Темнота заполняла комнату, стирая очертания мебели, превращая

пространство в сплошной серый фон. Я лежал, не закрывая глаз, и слушал, как внутри меня медленно, с тихим хрустом, ломается тот стержень, который я считал несокрушимым.

Глава 6. Второй визит

Весна 1977 года выдалась в Москве обманчиво теплой. Снег сошел рано, обнажив влажную, парящую под апрельским солнцем землю, и город быстро покрылся клейкой зеленой дымкой. Мне было двадцать пять лет. Я служил диаконом, готовился к рукоположению во священники и жил в состоянии хрупкого, почти болезненного счастья, которое человек испытывает только тогда, когда отчаянно пытается забыть о нависшей над ним угрозе.

Мою невесту звали Маша. Мы познакомились годом ранее через общих знакомых в церковной среде. Она была на два года младше меня, работала учительницей русского языка и литературы в обычной средней школе на окраине столицы. В ней была та редкая, тихая ясность, которая не требует доказательств. Маша не задавала лишних вопросов о семинарских порядках, не пыталась вникнуть в сложные богословские споры, которые мы вели с сокурсниками. Она просто верила — глубоко, органично, как дышала.

Ее семья принадлежала к тому невидимому слою советского общества, который научился существовать в режиме постоянной мимикрии. Отец Маши, Петр Ильич, работал заместителем начальника цеха на крупном приборостроительном заводе. Должность требовала безупречной анкеты и партийного билета, но по вечерам, плотно задернув шторы в своей двухкомнатной хрущевке, этот усталый человек с седеющими висками доставал из-за книг в шкафу старую, потемневшую икону Николая Чудотворца. Они молились шепотом. Они никогда не ходили в храмы по месту жительства, предпочитая ездить на электричках в дальние подмосковные приходы, чтобы не попасться на глаза сослуживцам или бдительным соседям. Их вера была их главной тайной, их уязвимостью и их единственным настоящим сокровищем.

Я любил Машу и искренне верил, что смогу защитить ее. Мой собственный опыт противостояния системе — тот самый первый визит человека в сером костюме, которому я ответил отказом — вселил в меня опасную самоуверенность. Я убедил себя, что государство уважает силу. Что если ты стоишь на своем, они отступают. Я гнал от себя мысли о том, какую цену за мою твердость заплатили другие. Я строил планы на будущее: венчание после Пасхи, рукоположение, тихий приход где-нибудь в провинции, где мы сможем жить незаметно и честно.

Иллюзия рухнула в один день, во вторник, в середине мая.

Я возвращался от Маши. Мы долго гуляли по ВДНХ, ели мороженое, говорили о том, какие занавески купим в нашу будущую квартиру. Я проводил ее до подъезда, дождался, пока в окне третьего этажа загорится свет, и пошел к метро. Улица была пустынной, только теплый ветер гнал по асфальту прошлогоднюю листву.

— Добрый вечер, отец диакон.

Голос прозвучал из полумрака аллеи, мягкий, с легкой, почти домашней хрипотцой. Я остановился. Сердце пропустило удар и забилося где-то в горле.

Из тени раскидистого тополя шагнул Юрий Александрович. На нем был легкий плащ, перекинутый через руку, и безупречно выглаженный костюм. Он улыбался той же самой располагающей, понимающей улыбкой, что и год назад в четырнадцатой комнате семинарии.

— Прекрасный вечер для прогулки, не правда ли? — Он поравнялся со мной, не протягивая руки, но встал так близко, что я почувствовал запах его дорогого одеколона. — Составите мне компанию до станции?

У меня пересохло во рту. Я кивнул, не в силах произнести ни слова. Мы пошли рядом по тускло освещенному тротуару. Со стороны мы, вероятно, выглядели как двое старых приятелей, неспешно обсуждающих последние новости.

— Я рад видеть, что у вас все хорошо, Николай Сергеевич, — начал он ровным, спокойным тоном. — Готовитесь к свадьбе. Мария Петровна — замечательная девушка. Умная, скромная. Дети в сорок третьей школе ее очень любят. Особенно шестой «Б», где она классный руководитель.

Он сделал паузу, давая мне время осознать услышанное. Каждое его слово было выверено. Он не просто назвал ее имя. Он назвал номер школы и класс. Он демонстрировал абсолютный, тотальный контроль над моей жизнью.

— Знаете, Николай Сергеевич, — Юрий Александрович вздохнул, словно собирался поделиться со мной тяжелой служебной проблемой. — Наша работа часто бывает неблагодарной. Мы ведь не карательный орган, как многие думают. Мы — фильтр. Мы стараемся защитить общество от потрясений, а хороших людей — от их собственных ошибок. Но иногда обстоятельства складываются так, что мы обязаны реагировать.

Мы свернули в сквер. Здесь было темнее, свет фонарей едва пробивался сквозь густую листву. Юрий Александрович остановился у пустой деревянной скамейки и жестом предложил мне сесть. Я остался стоять. Мои ноги казались ватными.

— Поступил сигнал, — произнес он, глядя на меня снизу вверх. В его голосе больше не было улыбки. — На Петра Ильича. Отца вашей невесты. Нам сообщили, что заместитель начальника цеха оборонного предприятия систематически слушает антисоветские радиопередачи, хранит дома религиозную литературу сомнительного содержания и, что самое неприятное, вовлекает в эту деятельность свою дочь. Советскую учительницу.

Воздух вокруг меня внезапно стал плотным, как вода. Я попытался вдохнуть, но грудь сдавило спазмом.

— Вы же понимаете, что это значит, Николай, — он впервые назвал меня по имени, без отчества и сана, сокращая дистанцию. — Если я дам ход этим бумагам, завтра утром Петр Ильич лишится партийного билета. К обеду он будет уволен с волчьим билетом. Человеку в его возрасте найти новую работу по специальности будет невозможно. А послезавтра комиссия из района придет в сорок третью школу. Учитель, воспитанный в атмосфере религиозного фанатизма, не имеет права формировать умы советских школьников. Марию уволят. Семья будет уничтожена.

Он замолчал. Где-то вдалеке, на проспекте, просигналила машина. В окнах соседнего дома мерцали голубые экраны телевизоров — люди смотрели

вечерние новости, пили чай, готовились ко сну. Нормальная, обычная жизнь продолжалась в нескольких метрах от меня, но я был навсегда от нее отрезан.

— Зачем вы мне это говорите? — мой голос прозвучал хрипло, чуждо.

Юрий Александрович медленно поднялся со скамейки.

— Потому что я не хочу давать ход этим бумагам. Я вижу в вас потенциал. Вы умный, перспективный священнослужитель. У вас впереди большое будущее. И я хочу, чтобы это будущее состоялось. У вас, у Марии, у ее родителей.

Он подошел ко мне вплотную.

— Мы ничего плохого не хотим, Николай. Мы не просим вас предавать веру. Мы не просим вас писать доносы на исповедующихся. Боже упаси. Нам просто нужен контакт. Разговаривайте с нами. Раз в месяц. О том, что видите вокруг. О настроениях в семинарии. О людях, которые пытаются использовать Церковь во вред государству. Вы будете просто наблюдать. По сути, вы будете защищать Церковь от радикалов. И заодно — защитите свою семью.

Это была идеальная, дьявольски выверенная психологическая ловушка. Система не требовала от меня отречения от Христа. Она не требовала публичных заявлений. Она предлагала мне сделку, упакованную в обертку заботы о близких.

«Просто наблюдать». Два слова, которые должны были стать анестезией для моей совести. Куратор давал мне возможность сохранить лицо перед самим собой. Он позволял мне думать, что я иду на жертву ради спасения Маши и ее отца.

Я стоял в темном сквере и смотрел в глаза этому вежливому, аккуратному человеку. В моей голове билась только одна мысль: если я сейчас скажу «нет», как в прошлый раз, я вернусь в свою чистую, праведную жизнь. Я останусь героем в собственных глазах. А завтра Петр Ильич придет на завод и увидит приказ о своем увольнении. Завтра Маша выйдет из класса в слезах, навсегда лишенная права заниматься любимым делом. Их жизнь будет сломана, растоптана, превращена в ежедневную унижительную борьбу за выживание. И это сделаю я. Моими руками, моим чистеньким, гордым отказом система уничтожит людей, которых я люблю.

Мученичество имеет смысл только тогда, когда ты приносишь в жертву себя. Когда ты приносишь в жертву других ради собственной моральной безупречности — это не святость. Это гордыня, доведенная до абсолюта.

Они знали это. Они просчитали меня до миллиметра. Они поняли, что меня нельзя сломать страхом за собственную шкуру, но можно сломать ответственностью за чужую жизнь.

— Что от меня требуется? — тихо спросил я.

Юрий Александрович едва заметно выдохнул. В его глазах мелькнуло удовлетворение профессионала, успешно завершившего сложную операцию.

— Сухая формальность, Николай Сергеевич. Для порядка.

Он расстегнул свой кожаный портфель, который до этого держал в левой руке, и достал оттуда стандартный лист бумаги формата А4 и перьевую ручку с золотым пером. Он положил портфель на спинку скамейки, превратив его в импровизированный стол, и прижал лист ладонью, чтобы его не унес ветер.

— Здесь написано, что вы добровольно соглашаетесь оказывать содействие органам государственной безопасности в деле защиты конституционного строя. И обязуетесь не разглашать факт нашего сотрудничества. Никому. Даже Марии. Особенно Марии.

Он протянул мне ручку.

Я смотрел на этот белый прямоугольник, тускло мерцающий в свете далекого фонаря. На нем было отпечатано всего несколько машинописных строк. Внизу оставалось пустое место для подписи.

Позже я много раз возвращался к этой минуте. Я пытался растянуть ее в памяти, найти в ней скрытые смыслы, оправдания, альтернативные варианты. Но правда заключалась в том, что это была всего лишь одна минута. Шестьдесят секунд. Может быть, даже меньше. Одно короткое мгновение, в которое вся моя жизнь, все мои убеждения, все мои молитвы перевернулись и пошли по другому руслу. Разве может одна минута весить столько?

Я взял ручку. Металлический корпус был холодным. Я наклонился над портфелем. Моя рука не дрожала. Какая-то странная, мертвая пустота

образовалась внутри, вытеснив и страх, и отчаяние. Я поставил дату. Затем быстро, размашисто расписался в самом низу листа.

Звук пера, царапающего бумагу, показался мне оглушительно громким.

Юрий Александрович аккуратно забрал лист, подул на чернила, чтобы они быстрее высохли, и спрятал бумагу обратно в портфель. Щелкнул металлический замок. Этот сухой щелчок прозвучал как выстрел, подводящий черту под моей юностью.

— Спасибо, Николай Сергеевич, — сказал он, возвращая себе прежний, дружелюбный тон. — Вы приняли мудрое, взвешенное решение. Я свяжусь с вами через пару недель. Инструкции получите позже. А пока — возвращайтесь к своим делам. И передавайте мои наилучшие пожелания Петру Ильичу. Уверен, он будет долго и плодотворно трудиться на благо нашей Родины.

Он слегка кивнул мне и пошел по аллее в сторону проспекта. Его шаги были легкими, уверенными. Через минуту его фигура растворилась в темноте.

Я остался один.

Ветер стих. В сквере повисла тяжелая, звенящая тишина. Я посмотрел на свои руки. На указательном пальце правой руки осталось крошечное синее пятнышко от чернил. Я попытался стереть его большим пальцем, но оно только размазалось, вьедаясь в кожу.

Я поднял голову и посмотрел на небо, затянутое городской дымкой, сквозь которую не было видно ни одной звезды. Я ждал, что сейчас что-то произойдет. Что земля разверзнется, что ударит гром, что я почувствую физическую боль от того, что только что совершил.

Но ничего не произошло. Мир остался абсолютно прежним. Деревья так же стояли в темноте, в окнах домов так же горел свет, а я все так же дышал. И это равнодушие мира к моему падению было самым страшным открытием той ночи.

Я сунул руки глубоко в карманы плаща и медленно побрел к метро. Я шел и знал, что завтра утром я надену стихарь, выйду на амвон и буду произносить слова литургии. Я буду смотреть в глаза прихожанам. Я буду улыбаться Маше. Я буду жать руку ее отцу.

И никто из них никогда не узнает, что человека, которого они знали, больше не существует. На его месте теперь шел кто-то другой. Тот, чье имя навсегда осталось лежать в серой картонной папке на дне кожаного портфеля.

Глава 7. Позывной

Первые две недели после того вечера в сквере я жил в состоянии непрерывного, изматывающего ожидания. Я просыпался по ночам от малейшего пороха в коридоре общежития, вздрагивал от резких звуков и ловил себя на том, что вглядываюсь в лица случайных прохожих на улице. Мне казалось, что на моем лбу проступила невидимая, но осязаемая для всех печать. Я ждал, что мир вокруг меня должен как-то отреагировать на случившееся: что преподаватели перестанут со мной здороваться, что Маша посмотрит на меня с внезапным подозрением, что своды храма обрушатся, когда я войду в алтарь.

Но мир хранил равнодушное молчание. Маша все так же улыбалась мне при встречах, ее отец спокойно ходил на свой завод, а семинарская жизнь текла своим чередом. Предательство оказалось делом абсолютно невидимым, лишенным всякой внешней театральности. Оно не имело ни запаха, ни цвета. Оно просто поселилось внутри меня, как тяжелый, холодный камень, который я теперь должен был носить с собой каждую секунду.

Вызов поступил в начале июня 1977 года. Ко мне подошел дежурный по академии и передал записку с московским адресом и временем. Никаких имен, никаких объяснений. Только улица, номер дома и квартира.

Это был обычный жилой дом на Фрунзенской набережной, сталинской постройки, с высокими потолками и широкими лестничными пролетами. Я поднялся на третий этаж, постоял перед массивной дубовой дверью, пытаюсь унять дрожь в руках, и нажал на кнопку звонка.

Дверь открылась почти мгновенно. На пороге стоял человек, которого я никогда раньше не видел. Это был не тот мягкий, обходительный Юрий Александрович, с которым я общался в сквере. Передо мной находился мужчина

лет сорока пяти, сухощавый, с острыми, рублеными чертами лица и внимательными, немигающими глазами за стеклами очков в тонкой металлической оправе. Он был одет в строгий темный костюм, сидевший на нем безупречно. В его облике угадывалась та специфическая, сухая жесткость, которая бывает у людей, привыкших не просить, а констатировать факты.

— Проходите, Николай Сергеевич, — сказал он ровным, лишенным эмоций голосом. — Обувь можете не снимать.

Квартира оказалась конспиративной. В ней не было никаких следов обжитости: стандартная полированная мебель, пустые книжные полки, ни одной фотографии на стенах, ни одной лишней вещи.

Мы прошли в комнату, служившую, по-видимому, кабинетом. Мужчина сел за стол, жестом указав мне на стул напротив.

— Меня зовут полковник Тимошевский, — произнес он, открывая лежащую перед ним тонкую картонную папку. — С этого дня я ваш куратор. Юрий Александрович выполнил свою часть работы, теперь мы переходим к практическому взаимодействию.

Он поднял на меня глаза. В них не было ни угрозы, ни дружелюбия. Это был взгляд исследователя, изучающего новый биологический образец.

— Чтобы у нас не возникало недопонимания, Николай Сергеевич, я сразу обозначу рамки, в которых мы будем работать. Вы теперь находитесь в сфере компетенции Четвертого отдела Пятого управления Комитета государственной безопасности СССР.

Он произнес это длинное, казенное название с едва уловимой гордостью.

— Пятое управление занимается борьбой с идеологическими диверсиями. А наш, Четвертый отдел, курирует религиозные организации. Все религиозные организации на территории страны. Мы знаем о Церкви всё. Мы знаем, кто с кем спит, кто кому завидует, кто какие книги читает под одеялом, и кто о чем молится. У нас нет иллюзий. И я хочу, чтобы их не было у вас.

Тимошевский достал из кармана пиджака портсигар, неторопливо извлек сигарету и закурил. Сизый дым поплыл к потолку.

— Многие думают, что наша цель — уничтожить религию, — продолжил он, стряхивая пепел в хрустальную пепельницу. — Это примитивный взгляд. Государство давно переросло пещерный атеизм двадцатых годов. Церковь — это часть нашего общества. Сложный, многовековой институт. И как любой институт, она нуждается в управлении и защите.

Он подался вперед, опершись локтями о стол. Его голос стал тише, приобретя доверительные, почти философские интонации.

— Поймите меня правильно, Николай. Мы не боремся с Богом. Мы боремся с теми, кто использует религию как политический инструмент. С радикалами. С диссидентами. С теми, кто хочет разрушить хрупкий мир между государством и верующими. В Церкви полно людей, которые под прикрытием рясы ведут антисоветскую пропаганду, устанавливают незаконные связи с иностранцами, мутят воду. Они — раковая опухоль на теле вашей же Церкви. И мы помогаем эту опухоль удалять.

Я слушал его, и внутри меня происходил странный, пугающий процесс. Мой разум, отчаянно искавший оправдания моему падению, начал цепляться за его слова. Тимошевский предлагал мне идеальную формулу рационализации. Он не требовал от меня быть предателем. Он предлагал мне стать санитаром. Защитником чистоты. Он выстраивал логическую конструкцию, в которой мое сотрудничество с КГБ выглядело не как трусость ради спасения семьи невесты, а как осознанный, зрелый выбор на благо самой Церкви.

— Вы — умный человек, искренне верующий, — говорил Тимошевский, глядя мне прямо в зрачки. — Вы же сами видите, что происходит в семинарии. Видите эти кухонные разговоры, это нездоровое увлечение западной литературой. Если мы позволим этому разрастись, государство будет вынуждено применить жесткие меры. Пострадают невинные люди. Закроются храмы. Вы этого хотите? Нет. И мы этого не хотим. Поэтому нам нужны такие люди, как вы. Люди, способные вовремя заметить проблему и тихо, без шума, помочь нам ее локализовать. Вы не доносчик, Николай. Вы — фильтр.

Это была блестящая вербовка. Он давал мне в руки моральное алиби, сшитое по моим собственным меркам. Я убеждал себя: если я буду работать с ними, я смогу контролировать ситуацию. Я буду писать отчеты так, чтобы никого

не подставить. Я буду отдавать им пустую породу, защищая настоящих, искренних людей. Я стану буфером между безжалостной машиной госбезопасности и незащитным церковным миром.

— Для ведения оперативной переписки и телефонных переговоров нам потребуется псевдоним, — будничным тоном произнес Тимошевский, открывая чистый лист в моей папке. — У вас есть пожелания?

Я промолчал. У меня пересохло в горле.

— Хорошо. Тогда я предложу свой вариант, — он взял перьевую ручку. — Как насчет «Алтарь»?

Слово повисло в прокуренном воздухе конспиративной квартиры.

Алтарь. Святая святых. Место, где совершается бескровная жертва, где хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь. Место абсолютной чистоты и предстояния перед вечностью. Использовать это слово для подписи под агентурными донесениями было актом запредельного, изощренного цинизма. Это было осквернение самого языка.

Я посмотрел на Тимошевского. На его лице не было ни тени насмешки. Он произнес это слово так же спокойно, как произнес бы «Береза» или «Сокол». Для него это был просто набор звуков, удобный фонетический код.

— Красиво звучит, — добавил он, делая пометку в деле. — Почти литургически. Согласны?

Я сглотнул вязкую слюну. Мой голос прозвучал глухо, словно принадлежал другому человеку: — Согласен.

— Вот и отлично, — полковник закрыл папку. — А теперь к делу, агент «Алтарь». У меня есть для вас первое небольшое задание.

Он достал из ящика стола блокнот.

— В середине следующей недели к вам в Лавру приезжает группа студентов из Ленинградской духовной академии. Неофициальный визит. Среди них будет некто Серафим Волков, студент третьего курса. По нашим данным, он везет с собой несколько машинописных копий текстов, изданных за рубежом. Ничего криминального, религиозная философия, но нам интересен круг его общения. Мне нужно, чтобы вы присутствовали при его беседах с вашими семинаристами.

Тимошевский посмотрел на меня поверх очков.

— Мне не нужны подробности их богословских споров. Мне нужны только факты. Кто присутствовал. Кто задавал вопросы. Кто брал тексты для копирования. Сухая фактология. Справитесь?

— Да, — ответил я.

Встреча с ленинградцами состоялась в четверг, в одной из комнат общежития. Собралось человек десять. Серафим Волков оказался худым, восторженным юношей с горящими глазами. Он достал из старого портфеля пачку напечатанных через копирку листов и начал читать вслух. Это были размышления о свободе совести и историческом пути русского православия. Текст был сложным, путаным, но студенты слушали затаив дыхание. В комнате стояла та особая, наэлектризованная тишина, которая возникает только тогда, когда люди прикасаются к запретному знанию.

Я сидел в углу, на чужой кровати, и смотрел на их лица. Я знал каждого из них. Вот Петр, у которого больная мать в Рязани. Вот Иоанн, мечтающий о монашеском постриге. Вот молодой диакон Василий, недавно женившийся. Они доверяли мне. Они считали меня своим.

А я сидел и методично, с холодной отстраненностью профессионала, фиксировал в памяти их имена.

Вечером, когда все уснули, я сел за стол в читальном зале библиотеки. Передо мной лежал чистый лист бумаги. Я взял ручку и начал писать свой первый агентурный отчет.

Я помнил философию Тимошевского. Я помнил свое решение быть «буфером». Поэтому я тщательно подбирал слова. Я писал максимально сухо, выхолащивая из текста любые эмоции и оценки.

«16 июня сего года в комнате номер 18 состоялось неформальное общение студентов с прибывшим из Ленинграда С. Волковым. Присутствовали студенты П. Иванов, И. Смирнов, В. Попов. Волков зачитывал тексты религиозно-философского содержания. Обсуждение носило исключительно академический характер, касалось вопросов догматики и истории Церкви. Антисоветских или политически неблагонадежных высказываний со стороны

присутствующих не зафиксировано. Тексты для дальнейшего копирования не передавались».

Я перечитал написанное. Текст казался мне абсолютно безопасным. Я никого не обвинил, никого не подставил под удар. Я просто зафиксировал факт встречи, который, скорее всего, и так был известен кураторам через других осведомителей. Я успокаивал себя тем, что своей нейтральной формулировкой отвел от ребят подозрения.

В самом низу листа я вывел: «Алтарь».

Через два дня я снова приехал на Фрунзенскую набережную. Тимошевский взял мой листок, быстро пробежал по нему глазами. На его тонких губах появилась едва заметная, удовлетворенная полуулыбка.

— Хорошая работа, — сказал он, аккуратно подшивая мой отчет в зеленую папку. — Четко, по существу. Без лишней воды. Продолжайте в том же духе.

Я вышел из квартиры с чувством выполненного долга. Мне казалось, что я переиграл систему. Что я смог сохранить и жизнь семьи Маши, и безопасность своих товарищей.

Я не понимал тогда самой страшной, самой разрушительной тайны Четвертого отдела. Им не нужны были мои оценки. Им не нужны были доказательства антисоветской деятельности. Им нужна была только сеть.

Мой сухой, «безопасный» отчет, в котором я просто перечислил имена присутствующих, был для них ценнее любого эмоционального доноса. Я своими руками дал им схему социальных связей. Я показал им, кто тянется к неформальному общению, кто готов слушать не утвержденные цензурой тексты. Я пометил этих людей для системы. Теперь каждая фамилия из моего списка ляжет в отдельную картотеку. За каждым из них установят наблюдение. Их будут вести годами, отслеживая их контакты, их назначения, их слабости. И когда придет время, система использует эту информацию, чтобы сломать их или заставить служить себе.

Я думал, что строю щит, а на самом деле я плел для них паутину.

В воскресенье я служил раннюю литургию в академическом храме. Я стоял в алтаре, облаченный в светлый стихарь. Передо мной возвышался Святой

Престол, на котором лежало напрестольное Евангелие в тяжелом серебряном окладе. Пахло ладаном и плавленным воском. Хор на клиросе пел Херувимскую песнь.

Я смотрел на квадратный стол Престола, покрытый парчовой индитией. Всю свою сознательную церковную жизнь я стремился сюда. Это было место, где небо соединялось с землей.

Но теперь, глядя на него, я не чувствовал благоговения. Я чувствовал только липкий, удушливый холод. Слово было отравлено. Пространство было осквернено. Я стоял в самом сердце храма, окруженный святынями, и понимал, что отныне и навсегда это место носит мое оперативное имя. И каждый раз, когда я буду входить сюда, я буду входить не к Богу. Я буду входить в зеленую картонную папку полковника Тимошевского.

Глава 8. Женева

Воздух Женевы в мае 1980 года имел совершенно иную плотность. Он не давил на плечи, не заставлял инстинктивно втягивать голову в плечи при виде человека в форме, не пах застоявшейся пылью казенных коридоров. Он был прозрачным, напоенным влагой Женевского озера и запахом цветущих каштанов.

Я стоял на набережной Монблан, сжимая в кармане легкого плаща свой синий служебный паспорт. Мне было двадцать восемь лет. Я был иереем Русской Православной Церкви, перспективным молодым священником с безупречной анкетой и хорошим знанием немецкого языка. На мне был отлично сшитый костюм-тройка, приобретенный в закрытом распределителе на Кузнецком мосту специально для этой поездки. Внешне я ничем не отличался от десятков других европейцев, спешащих по своим делам мимо витрин с дорогими часами и швейцарским шоколадом.

Но внутри меня, под подкладкой этого хорошего костюма, билась тяжелая, пульсирующая тревога человека, который привез с собой свою тюрьму.

Это была моя первая заграничная командировка. В составе официальной делегации Московского Патриархата я прибыл на заседание комиссий Всемирного совета церквей. Для советского гражданина выезд в капиталистическую страну был сродни полету на Луну — событием исключительным, требующим многомесячных проверок, характеристик и поручительств. Для агента работавшего по линии Четвертого отдела Пятого управления КГБ, это была рутинная оперативная задача.

Советское государство давно и прагматично использовало Церковь на международной арене. Внутри страны нас могли притеснять, закрывать храмы и контролировать каждый шаг, но за рубежом мы превращались в респектабельных послов мира. Наша задача заключалась в том, чтобы формировать выгодное СССР общественное мнение, продвигать советские мирные инициативы и блокировать любые попытки западных христиан поднять вопрос о нарушении прав верующих в социалистическом лагере. Мы были идеологическим спецназом в рясах.

Инструктаж перед вылетом проводился не на конспиративной квартире, а в одном из неприметных кабинетов высотного здания на Лубянке. Полковник Тимошевский был по-деловому краток.

— Ваша задача в Женеве, «Алтарь», делится на две части, — говорил он, раскладывая передо мной фотографии иностранных церковных деятелей. — Первая — это контроль за нашими. В составе делегации едет священник из Ленинграда, проходит у нас как «Георгиев». Он будет участвовать в заседании молодежной комиссии ВСЦ. Парень способный, но склонный к излишней откровенности в кулуарах. Мне нужно знать, с кем он пьет кофе, о чем говорит вне официальных заседаний и не берет ли литературу, которую не следует брать.

Тимошевский пододвинул ко мне одну из фотографий. С глянцевого бумажки на меня смотрел худощавый человек в очках с тонкой оправой.

— Вторая часть — иностранцы. Это пастор Мартин Штольц, представитель Евангелической церкви в Германии. Он активно интересуется делом Глеба Якунина, которого арестовали в прошлом году за антисоветскую деятельность. Штольц попытается поднять этот вопрос на комиссии. Ваша задача — в неформальных беседах довести до него и его окружения правильную позицию.

Якунин — не мученик за веру. Он уголовник, нарушивший советские законы. Вы должны транслировать миролюбивую политику Советского государства и разоблачать инспирации западной пропаганды о положении религий у нас в стране. И, разумеется, фиксировать реакцию Штольца.

Я слушал эти инструкции, кивал, запоминал имена. В Москве, в привычной атмосфере тотального контроля, это казалось логичным продолжением моей двойной жизни. Я давно научился оправдывать себя тем, что просто собираю факты.

Но здесь, в Женеве, моя тщательно выстроенная система самооправданий начала рушиться с первых же часов.

Экуменический центр ВСЦ располагался в современном здании из стекла и бетона. В просторных, залитых светом холлах звучала английская, французская, немецкая речь. Я сидел в зале заседаний, надев наушники синхронного перевода, и смотрел на лица западных делегатов.

Это было физическое столкновение с другим видом человечества.

Я наблюдал за протестантскими пасторами из Швейцарии, ФРГ, Нидерландов. Они выходили к микрофону, спорили, размахивали руками, критиковали правительства своих собственных стран за гонку вооружений. В их пластике, в том, как они держали спину, как смотрели в зал, отсутствовало то, что было вшито в генетический код каждого члена советской делегации — страх.

Они не оглядывались на старшего группы. Они не сверяли свои тезисы с заранее утвержденными в Совете по делам религий текстами. Когда они говорили о мире, о ядерном разоружении, о социальной справедливости — они не отрабатывали политическую повестку. Они искренне верили в то, что говорят. Их слова рождались из их убеждений, а не из директив кураторов.

Рядом со мной сидел отец Василий, пожилой протоиерей из нашей делегации. Когда подошла его очередь выступать, он достал из папки отпечатанный на машинке текст. Он читал его ровным, монотонным голосом, ни разу не оторвав глаз от бумаги. Он говорил о том, что верующие Советского Союза всецело поддерживают миролюбивый курс своего правительства, что в нашей стране обеспечена полная свобода совести.

Я смотрел на него и чувствовал, как краска стыда заливает мое лицо. Я знал, что в его епархии за последний год власти не разрешили отремонтировать ни одного храма. Я знал, что он сам дрожит перед местным уполномоченным. И западные делегаты в зале тоже это знали. Они слушали его вежливо, с непроницаемыми лицами, но в их глазах читалась смесь сочувствия и брезгливости. Они понимали, что перед ними не свободный пастырь, а заложник, вынужденный зачитывать текст, написанный его тюремщиками.

На третий день заседаний, во время вечернего приема в фойе отеля, ко мне подошел тот самый пастор Мартин Штольц, чью фотографию мне показывал Тимошевский.

Он держал в руке бокал с минеральной водой. У него было усталое, умное лицо и очень внимательные, светлые глаза.

— Отец Николай, — обратился он ко мне по-немецки, слегка склонив голову. — Я читал вашу статью о православной литургике в журнале Московской Патриархии. Глубокая работа.

Мы разговорились. Сначала о богословии, о различиях в понимании таинств. Штольц оказался блестяще образованным человеком. Беседа текла легко, я даже на мгновение забыл о своей роли, увлекшись настоящим, живым теологическим спором.

Но затем Штольц поставил бокал на высокий столик и понизил голос.

— Скажите мне честно, Николай. Как брат брату во Христе. Что на самом деле происходит с отцом Глебом Якуниным? До нас доходят очень тревожные сведения. Его обвиняют в антисоветской агитации, но мы знаем, что он просто собирал факты о закрытии храмов.

Воздух вокруг меня внезапно стал тяжелым. Теплая, дружеская атмосфера богословской беседы испарилась. Я стоял перед свободным человеком, который задавал мне прямой вопрос, ожидая прямого ответа.

В моей голове мгновенно всплыла инструкция. Я должен был сказать, что Якунин — преступник. Что он нарушил закон. Что Церковь не вмешивается в дела государства, а государство справедливо наказывает тех, кто использует религию для политических провокаций.

Я открыл рот. Я произнес эти слова. Мой немецкий был безупречен, грамматические конструкции выстроены идеально. Я говорил гладко, убедительно, приводя аргументы, которые вложил в меня Тимошевский.

Штольц не перебивал. Он слушал меня молча. И по мере того, как я говорил, выражение его лица менялось. Из него уходил интерес, уходило ожидание диалога. Оставалась только глубокая, почти физически осязаемая печаль.

Когда я закончил свою заученную тираду, повисла пауза. Вокруг нас звенели бокалы, смеялись люди, обсуждали проекты резолюций.

— Я понимаю вас, отец Николай, — тихо сказал Штольц. Он не стал со мной спорить. Он не стал доказывать мне обратное. Он просто посмотрел мне в глаза взглядом врача, который диагностировал неоперабельную стадию болезни. — Должно быть, это очень тяжело — нести такой крест.

Он слегка коснулся моего плеча, кивнул на прощание и растворился в толпе делегатов.

Я остался стоять у столика один. Мои руки дрожали. В этот момент я осознал всю глубину своего падения. Штольц не поверил ни единому моему слову. Но он не осудил меня. Он пожалел меня. Он увидел во мне не идеологического противника, а сломанного, несвободного человека, который даже здесь, за тысячи километров от Москвы, продолжает послушно исполнять волю своих хозяев.

Я вышел из отеля на улицу. Женева сияла огнями. По озеру скользили белые теплоходы. Мимо меня проходили смеющиеся молодые люди, пары сидели за столиками уличных кафе, не понижая голоса, не оглядываясь по сторонам. Этот мир жил, дышал, ошибался, но он был живым.

А я был мертв. Я был функцией. Я носил рясу, крест, произносил имя Бога, но на самом деле я служил совершенно иному господину. Моя вера, которую я так отчаянно пытался сохранить в чистоте, превратилась в декорацию для оперативной работы.

Поздно ночью я сидел в своем номере на четвертом этаже отеля «Корнавин». На столе горела лампа с зеленым абажуром. Передо мной лежал

лист плотной гостиничной бумаги с логотипом отеля в верхнем углу. Рядом лежала перьевая ручка.

Я должен был написать отчет.

В соседнем номере спал тот самый «Георгиев», за которым мне было поручено наблюдать. Днем я видел, как он долго разговаривал с представителями шведской делегации, как взял у них несколько брошюр, которые быстро спрятал в портфель. Я должен был зафиксировать это. Я должен был подробно описать свой разговор со Штольцем, передать его вопросы, подтвердить, что я выполнил задание по «разоблачению инспираций».

Я взял ручку. Металл холодил пальцы.

В Москве, в полумраке семинарской библиотеки, писать отчеты было проще. Там все казалось игрой, попыткой перехитрить систему, пройти по краю, никого не задев. Там я мог убеждать себя, что мои сухие формулировки спасают людей.

Но здесь, в тишине швейцарской ночи, после взгляда Мартина Штольца, ложь стала невыносимой. Я смотрел на белый лист бумаги, и меня тошнило. Физически, до спазмов в желудке.

Я прикоснулся пером к бумаге. Чернила начали медленно впитываться в плотные волокна.

«Совершенно секретно. Куратору 4-го отдела 5-го Управления КГБ СССР. От агента “Алтарь”».

Я вывел эти слова и остановился. За окном проехал поздний трамвай, его звонок эхом разнесся по пустой улице.

Я писал о том, как «Георгиев» общался со шведами. Я писал о том, что пастор Штольц проявляет «нездоровый интерес» к уголовному делу Якунина. Я формулировал предложения, выстраивал абзацы, методично превращая живых людей, с которыми я сегодня пил кофе и говорил о Боге, в объекты оперативной разработки.

Каждое написанное слово было предательством. Не только их. В первую очередь — самого себя. Я продавал свою душу не за тридцать сребреников, а за право спокойно жить в своей московской квартире, за безопасность семьи, за

возможность служить в храме. Я покупал право быть священником ценой отказа от всего, что делает священника пастырем.

Я закончил писать. Поставил дату. Расписался своим псевдонимом.

Лист бумаги лежал на столе, исписанный ровным, аккуратным почерком. Я подошел к окну и прижался лбом к прохладному стеклу. В темном отражении я видел свое лицо. Лицо молодого, успешного советского священника, побывавшего в заграничной командировке. Лицо человека, который только что собственноручно задокументировал свою абсолютную, беспросветную несвободу.

Глава 9. Маша

Квартира на окраине Москвы, в типовой панельной девятиэтажке, пахла ладаном, детской присыпкой и жареным луком. В начале восьмидесятых годов этот запах казался мне квинтэссенцией того самого семейного уюта, ради которого я когда-то пошел на сделку в темном сквере. Внешне наша жизнь выглядела как безупречная, почти лубочная картинка благополучия. Я служил на хорошем приходе, получал стабильное жалованье, ездил в заграничные командировки, что по советским меркам возводило человека в ранг небожителя. У нас подрастал сын Андрей, светловолосый, тихий мальчик, который любил собирать деревянный конструктор на ковре в гостиной. Моя жена Маша продолжала работать в школе, ее отец благополучно трудился на своем заводе.

Система сдержала слово. Она не тронула мою семью. Она сделала нечто гораздо более страшное: она превратила мою семью в декорацию, внутри которой я больше не имел права быть настоящим.

Психологические последствия двойной жизни не обрушиваются на человека в одночасье. Они проникают в быт медленно, как грунтовые воды в подвал старого дома, постепенно подтачивая фундамент. Первой ушла способность спать.

Бессонница стала моим постоянным, изматывающим спутником. Я ложился в постель рядом с Машей, слушал ее ровное, спокойное дыхание, и в этот момент мой мозг начинал методично прокручивать события прошедшего дня. Я анализировал каждое сказанное мной слово. Не слишком ли откровенно я ответил на вопрос настоятеля? Не было ли в моем молчании во время разговора в трапезной скрытой антисоветской солидарности? Правильно ли я составил последний отчет для Тимошевского? Я боялся не только того, что меня раскроют церковные люди. Я панически боялся, что кураторы сочтут меня недостаточно лояльным, заподозрят в двойной игре и тогда тот самый дамоклов меч, занесенный над Машиным отцом, наконец опустится.

Этот непрерывный, парализующий самоконтроль не отключался даже дома. Моя собственная кухня, где мы пили чай из чашек в синий горошек, перестала быть безопасной зоной.

В ноябре 1982 года, через несколько дней после смерти Брежнева, когда вся страна замерла в тревожном, вязком ожидании перемен, к нам в гости зашел отец Леонид. Это был немолодой, искренний священник из подмосковного Пушкино, с которым мы иногда пересекались на епархиальных собраниях. Маша напекла пирожков с капустой, мы сидели за столом, Андрей спал в соседней комнате.

Леонид был взбудоражен. Он понизил голос, хотя радиола на холодильнике специально была включена погромче, и достал из внутреннего кармана пиджака сложенный вчетверо лист папиросной бумаги.

— Коля, посмотри, — сказал он, разглаживая лист на клеенке. — Это черновик петиции. Прихожане в соседнем районе собрали уже сто двадцать подписей. Требуют вернуть здание храма, которое под склад отдали еще при Хрущеве. Сейчас власть меняется, может, наверху прислушаются. Мы хотим передать это через иностранных журналистов, если наши завернут. Ты ведь бываешь за границей, у тебя есть выходы. Поможешь?

Я смотрел на этот тонкий, просвечивающий лист бумаги, на неровный машинописный шрифт, и чувствовал, как по спине ползет липкий, холодный пот. Мой дом. Мой стол. Мой гость. И прямо сейчас, на моих глазах, совершается

действие, которое в логике Четвертого отдела легко превращалось в «подготовку антиобщественной кампании с использованием контактов с иностранцами».

Я должен был остановить его. Я должен был сказать, что это безумие, что я не буду в этом участвовать. Но часть моего сознания — та часть, которая откликалась на позывной «Алтарь» — уже работала в автономном режиме. Она фиксировала факт наличия петиции. Она запоминала количество подписей. Она отмечала готовность Леонида к контактам с иностранцами.

— Оставь это у меня, отец Леонид, — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и участливо. — Я почитаю. Подумаю, что можно сделать. Но будь осторожен, прошу тебя.

Он ушел, горячо пожав мне руку, уверенный, что нашел единомышленника. А я остался сидеть на кухне, глядя на остывший чай. На следующий день я пошел к телефону-автомату у станции метро «Щелковская», опустил в прорезь двухкопеечную монету и набрал номер куратора. Я не отдал им саму петицию — я сжег ее в пепельнице, убедив себя, что таким образом спасаю Леонида от прямой улики. Но я сообщил о настроениях в Пушкино и о том, что инициативная группа ищет выходы на западную прессу. Я предал человека, который ел хлеб за моим столом.

После таких эпизодов дистанция между мной и Машей увеличивалась. Она не знала фактов, но она безошибочно считывала мое состояние. Женщины, живущие с надломленными мужчинами, обладают особым, почти животным чутьем на внутреннюю пустоту.

Маша видела, как я вздрагиваю от резких звонков в дверь. Видела, как я подолгу стою у окна в темной комнате, глядя на заснеженный двор. Она пыталась расспрашивать, пыталась пробиться сквозь ту глухую стену, которую я возвел вокруг себя.

— Коля, что с тобой происходит? — спрашивала она, касаясь моего плеча, когда я в очередной раз сидел, уставившись в одну точку. — У тебя неприятности на приходе? Кто-то из благочиния придирается? Расскажи мне. Мы же семья.

— Все в порядке, Маша. Просто устал. Много треб, много людей, — отвечал я, мягко, но непреклонно убирая ее руку.

Я лгал ей каждый день. Я лгал, когда говорил, куда еду. Я лгал, когда объяснял происхождение некоторых сумм в нашем бюджете — кураторы иногда передавали деньги «на представительские расходы», которые я выдавал за щедрые пожертвования за требы. Моя жизнь превратилась в многослойный пирог из недомолвок, умолчаний и прямых фальсификаций. И самое страшное заключалось в том, что я делал это ради нее. Я берег ее покой, уничтожая нашу близость.

Инцидент, который окончательно зафиксировал правила нашей новой, искалеченной жизни, произошел в феврале 1983 года.

Тимошевский вызвал меня на короткую встречу не на конспиративную квартиру, а в город, в сквер у Чистых прудов. Встреча была рутинной, но в конце он продиктовал мне новый резервный номер телефона.

— Старый больше не работает, — сухо бросил он, кутаясь в воротник пальто. — Запомните этот.

Я повторил семь цифр про себя, но из-за хронического недосыпа и нервного истощения память дала сбой. Цифры начали путаться в голове. Поддавшись минутной слабости, я достал из кармана огрызок трамвайного билета и быстро записал номер шариковой ручкой. Я сунул билет в глубокий карман своей повседневной рясы, намереваясь выучить его дома и немедленно уничтожить бумажку.

Но дома Андрей расплакался из-за разбитой коленки, потом позвонил настоятелю, потом нужно было готовиться к вечерней службе. Билет остался в кармане.

В воскресенье вечером я сидел в кресле, просматривая конспекты проповедей. Маша занималась домашними делами. Она взяла мою рясу, чтобы почистить ее щеткой от налипшей за неделю пыли и уличной грязи — обычный, рутинный ритуал жены священника.

Я услышал шорох ткани, затем тишину.

Подняв глаза, я увидел, что Маша стоит посреди комнаты. В ее руке был тот самый трамвайный билет. Она смотрела на него, слегка нахмурившись.

— Коля, а это чей телефон? — спросила она обыденным тоном. — Ни имени, ничего. Просто цифры.

В комнате было тепло, но я почувствовал, как ледяная волна прокатилась от затылка до пят. Мое сердце сделало тяжелый, болезненный удар о ребра и замерло. Это был момент абсолютной, кристальной уязвимости. Один неверный взгляд, одна дрогнувшая интонация — и вся моя тщательно выстроенная система защиты рухнет.

Я заставил себя медленно отложить тетрадь. Я заставил свои лицевые мышцы расслабиться, изображая легкое недоумение.

— Какой телефон? А, это... — я подошел к ней, взял билет из ее пальцев. Мои руки, слава Богу, не дрожали. — Это телефон снабженца со строительной базы. Настоятель просил достать кровельное железо для ремонта трапезной, дал контакт человека, который может помочь по бартеру. Сказал звонить только в крайнем случае, человек серьезный, не любит, когда его имя светят.

Я скомкал билет и бросил его в пепельницу на подоконнике.

— Надо будет завтра набрать, совсем из головы вылетело.

Я повернулся к Маше, ожидая ее реакции.

Она смотрела на меня. В ее глазах не было ни подозрения в измене, ни ревности. Она была слишком умна для банальных бытовых скандалов. Но в ее взгляде было нечто иное. Она смотрела на меня так, словно видела перед собой незнакомца, который надел маску ее мужа.

Она выросла в семье, где тайны были условием выживания. Она помнила тот вечер много лет назад, когда над ее отцом нависла угроза увольнения, которая потом чудесным образом, без всяких объяснений, растворилась в воздухе. Она знала, как звучит ложь, призванная защитить.

Маша перевела взгляд с моего лица на скомканный билет в пепельнице. Затем снова посмотрела на меня. Тишина в комнате стала плотной, звенящей. Я слышал, как на кухне капает вода из неплотно закрытого крана. Капля. Еще капля.

В этот момент она могла сделать шаг вперед. Могла потребовать правды. Могла спросить, почему у меня такой пустой, мертвый голос, когда я говорю о кровельном железе.

Но она сделала шаг назад.

— Понятно, — тихо сказала она. — Не забудь позвонить. А то действительно будет ругаться.

Она отвернулась и продолжила чистить ряску. Ее движения были ровными, методичными.

Я стоял посреди комнаты и понимал, что только что произошло нечто непоправимое. Она не поверила мне. Ни на секунду. Но она приняла мою ложь. Она добровольно согласилась не задавать вопросов, ответы на которые могли разрушить наш мир. В эту секунду Маша стала моей невольной соучастницей. Зона умолчания, в которой я жил все эти годы, расширилась и поглотила ее.

Мы заключили негласный, страшный пакт. Я обязался лгать ей, чтобы сохранять иллюзию нормальной жизни. Она обязалась делать вид, что верит этой лжи, чтобы не сталкиваться с правдой, которую не смогла бы вынести.

Той ночью мы лежали в нашей постели. За окном гудел февральский ветер, бросая в стекло мелкую, жесткую крупу снега. Маша лежала на правом боку, отвернувшись к стене. Я лежал на спине, глядя в темноту. Между нами было не больше двадцати сантиметров пространства, но это была пропасть, которую невозможно было преодолеть ни словами, ни прикосновениями. Я слушал ее дыхание и знал, что она тоже не спит. Мы лежали рядом, два человека, связанные таинством брака, любовью и общим ребенком, и молчали о том, что в нашей спальне незримо присутствует кто-то третий. Тот, чей номер телефона теперь навсегда выжжен в моей памяти.

Глава 10. Дело «Аптекарь»

Лето 1988 года выдалось в Москве душным, праздничным и насквозь фальшивым. Страна с размахом отмечала тысячелетие Крещения Руси. По телевизору показывали торжественные богослужения, в Большом театре прошел торжественный акт с участием высшего духовенства и партийной номенклатуры, Горбачев говорил о новом мышлении и свободе совести. Впервые за десятилетия священники могли открыто идти по улице в рясах, не лоя на себе враждебных взглядов. Церкви возвращали Данилов монастырь, колокольный звон снова становился легальной частью городского шума. Казалось, что ледяной панцирь государственного атеизма треснул и начал стремительно таять.

Но я знал цену этой оттепели. Я знал, что за фасадом торжественных речей и телевизионных трансляций бесперебойно работает та же самая система, просто она сменила грубые инструменты на более тонкие. Пятое управление КГБ не собиралось сдавать свои позиции. Напротив, в условиях гласности их работа стала более изощренной. Им больше не нужно было массово сажать людей за веру — это портило бы экспортную картинку перестройки. Им нужно было дискредитировать тех, кто отказывался играть по правилам официального, контролируемого православия.

Встреча с полковником Тимошевым состоялась в конце июня. Мы больше не прятались по конспиративным квартирам с зашторенными окнами. Он назначил встречу в ресторане гостиницы «Пекин», в отдельном кабинете, где пахло дорогим коньяком и осетриной. Тимошевский постарел, в его волосах появилась жесткая седина, но взгляд остался прежним — цепким, оценивающим, лишенным всяких иллюзий.

— Праздник идет по плану, Николай Сергеевич, — сказал он, неторопливо разрезая рыбу. — Иностранцы в восторге, пресса пишет правильные вещи. Но есть люди, которые пытаются испортить нам этот исторический момент.

Он промокнул губы салфеткой и достал из внутреннего кармана пиджака сложенный вдвое лист бумаги.

— Александр Огородников. Вы, конечно, слышали это имя.

Я кивнул. В церковной среде Огородникова знали многие. Религиозный диссидент, мирянин, отсидевший срок за свою веру, организатор христианских семинаров. Он был из тех неудобных, горящих людей, которые не умели идти на компромиссы. Пока официальная иерархия произносила гладкие речи о симфонии с государством, Огородников говорил о гонениях, о разрушенных храмах, о политзаключенных.

— По нашей номенклатуре он проходит как объект оперативной разработки «Аптекарь», — будничным тоном продолжил Тимошевский. — Этот человек сейчас крайне опасен. Он дает интервью западным корреспондентам, собирает вокруг себя экзальтированную молодежь, пытается создать независимый христианский профсоюз. Сажать его снова мы не будем — не тот политический климат. Мы будем его изолировать. Морально.

Полковник посмотрел мне прямо в глаза, и я почувствовал знакомый, тянущий холод в животе.

— Нам нужно перевести работу на новый уровень, «Алтарь». Хватит просто наблюдать и фиксировать контакты. Нам нужны активные мероприятия. Огородников должен потерять авторитет в глазах своих же единомышленников. Нам нужны слухи. Нам нужна грязь. Бытовые конфликты, финансовые нечистоплотности, проблемы в семье. Вы вращаетесь в кругах, близких к его окружению. Ваша задача — аккуратно собирать эту информацию. А если ее нет — стимулировать ее появление. Задавайте правильные вопросы нужным людям. Вы же священник, вам доверяют. Люди любят жаловаться духовникам на чужие недостатки.

Я сидел за столом, покрытым белоснежной скатертью, и слушал, как мне прямым текстом приказывают использовать таинство пастырской беседы для сбора компромата. Моя старая, удобная философия «буфера», которой я оправдывал себя все эти годы — иллюзия того, что я пишу сухие отчеты и никого не предаю — рассыпалась в прах. От меня требовали стать провокатором.

— Я не уверен, что смогу найти что-то существенное, — попытался я уклониться, чувствуя, как пересохло горло. — Огородников человек идейный, его быт мало кого интересует.

— Ищите, Николай Сергеевич. Ищите, — жестко отрезал Тимошевский. — У каждого есть уязвимое место. Особенно в семье. Семья диссидента — это всегда натянутая струна. Узнайте, как его жена относится к тому, что в доме постоянно толкутся посторонние люди. Как они делят деньги, которые им присылают с Запада. Мне нужны детали.

Через неделю я стоял в притворе храма Илии Обыденного. Служба закончилась, прихожане расходились. У свечного ящика задержалась Елена Викторовна — женщина лет пятидесяти, интеллигентная, с тихим голосом, работавшая корректором в каком-то техническом издательстве. Я знал, что она близко общается с семьей Огородникова, помогает им с перепечаткой текстов, часто бывает у них дома.

Я подошел к ней, благословил. Мы заговорили о прошедшем празднике, о проповеди. Затем я, тщательно контролируя интонацию, чтобы она звучала исключительно как пастырская забота, перевел разговор на нужную тему.

— Как там Александр? — спросил я, сочувственно покачав головой. — Слышал, он совсем себя не бережет. Столько активности, столько встреч. Боюсь я за него, Елена Викторовна. Гордыня — страшный грех, а публичность часто к ней подталкивает.

Женщина вздохнула, поправляя платок. Мой тон сработал безупречно. Она увидела во мне старшего брата, мудрого священника, с которым можно поделиться наболевшим.

— Ох, отец Николай, и не говорите. Тяжело там все. Саша ведь живет только идеями. А дом, быт — все это на жене. Она измотана страшно. Постоянные обыски в прошлом, теперь эти толпы людей днем и ночью. Никакой личной жизни. Я вчера заходила — она плачет на кухне. Говорит, сил больше нет терпеть эту вечную войну. Ей хочется простого покоя, чтобы муж был рядом, а не на баррикадах.

— Разногласия? — мягко уточнил я, чувствуя себя стервятником, кружащим над раненым животным.

— Да какие там разногласия... Просто усталость женская. Она его любит, но иногда срывается. Кричит, что он променял семью на политику.

Я слушал ее, кивал, произносил правильные слова утешения, а мой мозг уже формулировал строчки будущего донесения. Я вычленил из ее боли то, что было нужно Тимошеву: «жена измотана», «срывается», «обвиняет в промене семьи на политику».

Вечером того же дня я сел за свой рабочий стол. Я долго смотрел на чистый лист бумаги. Я пытался убедить себя, что не делаю ничего страшного. Подумаешь, передам куратору информацию о бытовых ссорах. Это же не донос об антисоветском заговоре. За это не сажают в тюрьму. Может быть, они просто напишут какую-нибудь гадкую статью в газете, Огородников позлится, и на этом все закончится. Я написал отчет, тщательно подбирая слова, стараясь сделать их максимально нейтральными, но суть оставалась прежней: я сдал им болевую точку чужой семьи.

В августе меня вызвали на новую конспиративную квартиру в районе метро «Сокол». Это была просторная «сталинка», обставленная дорогой, но безликой мебелью. Тимошевский был в приподнятом настроении. Он встретил меня в коридоре, пожал руку крепче обычного.

— Проходите, Николай Сергеевич. У меня сейчас срочный звонок по «вертушке», располагайтесь в кабинете, я через минуту буду.

Я вошел в комнату. На массивном письменном столе, прямо под светом настольной лампы, лежала открытая папка салатового цвета. На обложке стоял красный гриф «Совершенно секретно». Это была промежуточная сводка 4-го отдела за август 1988 года.

Я знал, что не должен смотреть в чужие документы. Это было строжайшим нарушением всех негласных правил. Но мой взгляд невольно упал на страницу, отпечатанную на машинке с четким, ровным шрифтом. В правом верхнем углу значилось: «л. 75».

Мои глаза выхватили знакомый позывной. Я замер, перестал дышать и вчитался в текст.

«По ДОР “Аптекарь” проводились мероприятия, направленные на дальнейшую компрометацию объекта перед единомышленниками и связями на Западе... Через агентуру и другие возможности удалось склонить жену “Аптекаря” обратиться в суд с заявлением о разводе с ним брака...»

Я перечитал эти строки трижды. Буквы начали расплываться перед глазами.

Ниже шел следующий абзац:

«С этой целью выпущен очередной номер неофициального журнала “Слово” №2, с помещёнными в нём разоблачительными материалами в отношении разрабатываемого».

В коридоре слышались шаги Тимошевского. Я резко отшатнулся от стола и сел на стул для посетителей, вцепившись побелевшими пальцами в подлокотники.

Полковник вошел в кабинет, удовлетворенно потирая руки. Он сел за стол, небрежно закрыл салатовую папку и посмотрел на меня.

— Ну что, «Алтарь», могу вас поздравить. Ваша информация по объекту оказалась исключительно полезной. Мы нащупали правильный нерв.

Он говорил что-то еще, хвалил мою оперативность, рассуждал о том, как важно вовремя нейтрализовать экстремистов, но я его не слышал. В моих ушах стоял гул, словно я находился внутри огромного колокола, по которому только что ударили тяжелым языком.

«Удалось склонить жену... обратиться в суд с заявлением о разводе».

Они не просто написали статью. Они не просто пустили слухи. Они использовали мою информацию, мои аккуратные, выверенные наблюдения за чужой болью, чтобы методично, целенаправленно уничтожить брак. Они нашли измученную, уставшую женщину, которая плакала на кухне, и через свою агентуру, через подставных лиц, через давление и шантаж довели ее до точки невозврата. Они заставили ее предать мужа.

И я был тем, кто указал им, куда бить.

Я сидел напротив Тимошевского, смотрел на его спокойное, уверенное лицо государственного служащего, и меня накрыло физическое ощущение невыносимой, липкой грязи. Я вспомнил Елену Викторовну в притворе храма. Вспомнил свой мягкий, сочувствующий голос. Я использовал свой сан, свой крест, доверие верующего человека, чтобы помочь КГБ разрушить семью.

В этот момент рухнула последняя стена моей внутренней защиты. Я больше не мог врать себе, что я просто наблюдатель. Я был соучастником расправы.

Я вышел из квартиры на улицу Песчаную. Летний вечер был теплым, пахло нагретым асфальтом и пыльной листвой. Мимо шли люди, смеялись подростки, у газетного киоска стояла очередь за свежим номером «Московских новостей». Страна упивалась своей новой, разрешенной свободой.

А я шел к метро, чувствуя себя палачом.

Я думал о своей жене. О Маше. О том, как одиннадцать лет назад, в темном сквере, я подписал бумагу о сотрудничестве, чтобы спасти ее отца от увольнения, а нашу будущую семью — от краха. Я продал свою душу ради того, чтобы сохранить свой дом.

И теперь, спустя годы, я своими собственными руками помогал системе разрушать чужие дома. Я стал частью той самой силы, которая когда-то угрожала мне. Я превратился в того самого человека в сером костюме, который приходит в чужую жизнь и ломает ее ради «государственных интересов».

Я доехал до своей станции, поднялся на эскалаторе. Ноги были тяжелыми, словно налитыми свинцом. Я подошел к своему дому, поднялся на этаж и открыл дверь своим ключом.

В квартире пахло жареной картошкой. Из комнаты доносился голос диктора программы «Время». Маша вышла в коридор, вытирая руки кухонным полотенцем. На ней был старый, выцветший халат, волосы небрежно заколоты на затылке. Она посмотрела на меня своим обычным, усталым взглядом человека, давно привыкшего ни о чем не спрашивать.

— Ты поздно сегодня, Коля, — сказала она ровным голосом. — Ужинать будешь?

Я стоял в прихожей, не снимая плаща. Я смотрел на женщину, ради которой когда-то пошел на предательство, и понимал, что между нами больше нет ничего настоящего. Моя ложь, призванная защитить ее, сожрала нас обоих. А теперь эта ложь вырвалась за пределы нашей квартиры и начала пожирать других людей.

Я смотрел на Машу, и перед моими глазами стояли сухие, отпечатанные на машинке строчки из салатовой папки. Строчки, в которых человеческая

трагедия, развод, крушение любви были описаны как успешно проведенное «мероприятие». И внизу этого мероприятия невидимыми чернилами стояла моя подпись.

Глава 11. 1989. Исповедь

Ноябрь 1989 года выдался в Москве слякотным, темным и насквозь пропитанным гулом уличных митингов. Столица бурлила, упиваясь предчувствием небывалых перемен. Люди собирались на площадях, читали газеты и журналы, еще недавно немыслимые для легальной печати, спорили до хрипоты у станций метро. Воздух вибрировал от слов «гласность», «демократия», «покаяние». Страна сбрасывала с себя старую кожу, искренне веря, что под ней обнаружится здоровая, чистая плоть.

А я задыхался.

Каждое утро я просыпался с ощущением свинцовой плиты на груди. Мои руки, совершавшие проскомидию в алтаре, казались мне чужими, испачканными в чем-то липком и несмываемом. После того, как мои аккуратные, выверенные донесения были использованы для разрушения семьи диссидента, я потерял последнюю возможность прятаться за иллюзией собственной непричастности. Я больше не был «буфером». Я был скальпелем в чужих руках. И этот скальпель резал по живому.

Мне нужно было очищение. Физическая, осязаемая потребность выговориться, сбросить этот груз, пока он окончательно не раздавил мой рассудок. Я нуждался в таинстве исповеди.

Но в Москве для меня не осталось ни одного безопасного храма.

Я знал систему изнутри. Я знал, как плотно Четвертый отдел опекает столичное духовенство. Если я приду к знакомому священнику и расскажу о своей двойной жизни, о кураторах, о сломанных судьбах — что произойдет? В лучшем случае он в ужасе отшатнется от меня, не зная, как жить с этой правдой.

В худшем — он сам окажется таким же «Алтарем», «Антоновым» или «Настоятелем», и мой крик о помощи ляжет на стол полковника Тимошевского в виде очередной зеленой папки с грифом «Совершенно секретно». Я не мог доверять никому из тех, с кем служил, с кем пил чай на епархиальных собраниях, с кем обсуждал богословские труды. КГБ добился главного: они отравили саму возможность доверия внутри Церкви.

Поэтому я решил бежать. Бежать туда, где меня никто не знает, где нет столичного лоска и пристального внимания органов.

Я выбрал Рязанскую область. Нашел в старом церковном справочнике глухое село, расположенное в сорока километрах от районного центра. Там, согласно бумагам, служил пожилой священник, назначенный на этот приход еще в конце шестидесятых и с тех пор ни разу не покидавший его пределов. Идеальная слепая зона. Человек, забытый и церковной иерархией, и, как я надеялся, государственной безопасностью.

Я выехал ранним утром во вторник. Надел старое, потертое гражданское пальто, надвинул на лоб кепку, оставив рясу и крест дома. В этот день я не был протоиереем Николаем. Я был просто уставшим, запутавшимся человеком, который едет в электричке с Казанского вокзала, глядя в мутное, засиженное мухами окно.

Вагон пах мокрой шерстью, дешевым табаком и перегаром. Напротив меня сидели две женщины в пуховых платках, обсуждавшие дефицит сахара. За окном тянулись бесконечные серые поля, голые перелески, почерневшие от осенней сырости деревянные заборы подмосковных дач. Стук колес отдавался в висках монотонным, гипнотическим ритмом. Я закрывал глаза и пытался сформулировать то, что скажу старому священнику.

Как облечь в слова тринадцать лет предательства? Как объяснить, что ты продал душу не из-за страха пыток, а ради сохранения бытового комфорта и безопасности близких? Я репетировал фразы, подбирал точные, безжалостные определения своим поступкам. Я хотел вывернуть себя наизнанку, выблевать эту ложь на холодный пол деревенского храма, чтобы уйти оттуда пустым, но чистым.

От Рязани я добирался на дребезжащем, пропахшем бензином автобусе «ПАЗ». Дорога была разбитой, колеса вязли в глубоких колеях, заполненных ледяной грязью. В село я приехал уже во второй половине дня, когда небо начало стремительно темнеть, наливаясь свинцовыми сумерками.

Храм стоял на небольшом возвышении, окруженный покосившимися крестами старого кладбища. Это было кирпичное здание постройки девятнадцатого века. Колокольня была наполовину разрушена, зияя пустыми пролетами, словно выбитыми зубами. Штукатурка на стенах облупилась, обнажив красную кирпичную кладку. Но над уцелевшей частью трапезной, переоборудованной под основной придел, возвышался свежевыкрашенный синий купол с простым железным крестом.

Я толкнул тяжелую, обитую дерматином дверь и шагнул внутрь.

В храме было холодно — почти так же, как на улице. Пахло сыростью, мышами и тем особым, горьковатым ладаном, который используют в бедных приходах. Электричества не было, пространство освещалось лишь несколькими свечами, горевшими перед потемневшими от времени иконами.

Шла вечерняя служба. На клиросе дребезжащим, старческим голосом читала псалмы единственная прихожанка — сгорбленная старуха в ватнике.

А перед алтарем стоял он.

Священник был очень стар. Его облачение — выцветшая, потертая на локтях фелонь — висело на его худых плечах, как на вешалке. Седые волосы были собраны в жидкую косичку, лицо изрезано глубокими морщинами, в которых прятались тени от свечного пламени. Он двигался медленно, с трудом переставляя ноги в тяжелых зимних ботинках.

Я встал в самый темный угол, у колонны, и стал ждать. Мое сердце билось тяжело и гулко. Я смотрел на этого старика, и внезапно мой тщательно выстроенный план покаяния начал давать трещину.

В моей голове, отравленной годами оперативной работы, проснулся профессиональный параноик.

А что, если он тоже пишет отчеты? Что, если местный уполномоченный держит его на крючке из-за какой-нибудь давней провинности? Я пришел сюда

как гражданский человек. Если я сейчас подойду к кресту и скажу: «Отче, я священник, и я работаю на КГБ», — какой будет его реакция?

Даже если он кристально чист, даже если он святой — имею ли я право обрушивать на него эту правду? Он живет в своем тихом, забытом Богом и властью мире. Он крестит младенцев, отпевает старух, служит литургию в этом промерзшем здании. И тут появляюсь я — посланник из того страшного, циничного мира, где рясы используются как прикрытие для спецопераций. Мое признание может стать для него шоком, от которого он не оправится. Я могу разрушить его веру в Церковь одним своим рассказом.

Служба закончилась. Старуха задула свечи на клиросе, шаркая ногами, подошла к священнику под благословение и медленно побрела к выходу. Дверь скрипнула, впустив в храм порыв ледяного ветра, и тяжело захлопнулась.

Мы остались одни.

Священник вынес из алтаря старое, в потертом бархатном окладе Евангелие и медный крест. Положил их на аналой у солеи. Он посмотрел в мою сторону, щурясь в полумраке.

— Подходи, раб Божий, — сказал он тихо. Голос у него был надтреснутый, но удивительно спокойный. — Исповедаться пришел?

Я отделился от колонны и на ватных ногах подошел к аналою. Снял кепку. Склонил голову.

— Как имя твое? — спросил старик, накрывая мою голову краем епитрахили. Ткань пахла воском и старой пылью.

— Николай, — выдохнул я.

— Что тяготит твою душу, Николай? Говори, не утаивай. Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое.

Я открыл рот. Слова, которые я репетировал в электричке, стояли в горле плотным, удушливым комом. Я должен был сказать: «Я агент государственной безопасности. Я предавал людей. Я собирал компромат на диссидентов. Я соучастник разрушения семьи».

Но вместо этого я услышал свой собственный голос, звучащий глухо и отстраненно:

— Я много лгал, батюшка.

— Кому лгал, сынок? Близким?

— Всем. Жене. Другьям. Самому себе. Я жил двойной жизнью.

Старик тяжело вздохнул. Его рука, лежащая на моей голове поверх епитрахили, была теплой и сухой.

— Блуд? Изменял супруге? — спросил он с той обыденной пастырской прямоотой, которая привыкла к стандартному набору человеческих грехов.

— Нет. Хуже. Я предал доверие людей. Я использовал свое положение, чтобы причинить им вред. Из-за моих слов пострадала семья. Люди развелись.

— Ты оклеветал их из зависти? Из-за денег?

Я зажмурился. Под веками пульсировала красная темнота. Я стоял в шаге от того, чтобы произнести главное слово. Одно слово, которое объяснило бы всё. Но страх — липкий, въевшийся в подкорку страх перед системой, перед нарушением подписки о неразглашении, перед непредсказуемостью последствий — сковал мои челюсти. Я применил к таинству исповеди правила оперативной конспирации. Я начал фильтровать информацию.

— Я сделал это из трусости, — сказал я, тщательно подбирая безопасные формулировки. — Я боялся за своих близких. И чтобы защитить их, я согласился делать плохие вещи. Я наблюдал за людьми. Я передавал чужие слова тем, кто мог причинить зло.

Повисла долгая пауза. В тишине пустого храма было слышно, как потрескивает фитиль единственной горящей свечи.

Священник молчал. Я чувствовал, как он пытается заглянуть за фасад моих обтекаемых фраз. Он был стар, он прожил долгую жизнь в советской стране и, возможно, начал догадываться, о каком именно «наблюдении» и о каких «людях» идет речь. Но он не стал допытываться. Он не стал тянуть из меня клещами то, что я не был готов отдать сам.

— Страх — плохой советчик, Николай, — произнес он наконец. В его голосе не было осуждения, только глубокая, бездонная усталость. — Когда человек пытается спасти свое, отдавая на растерзание чужое, он в итоге теряет всё. Ты

думаешь, ты защитил свою семью? Нет. Ты просто впустил дьявола в свой дом через другую дверь.

Его слова ударили меня наотмашь, потому что были абсолютно точны.

— Что мне делать, отче? — прошептал я. — Я не могу всё исправить. Я не могу вернуть назад то, что сделал.

— Покаяние — это не просто сожаление о прошлом, сынок. Это изменение ума. Это готовность встать в свете правды, какой бы страшной она ни была. Если ты пришел сюда, чтобы просто сбросить тяжесть и пойти дальше делать то же самое — Господь не примет такой жертвы. Ты должен остановиться. Перестать лгать. В первую очередь — перед Богом. Ты ведь и сейчас говоришь со мной наполовину, прячешься за словами.

Я вздрогнул. Он всё понял. Он почувствовал мою закрытость, мою неспособность к полному, безоглядному обнажению души.

— Я не могу сказать больше, — мой голос сорвался. — Если я скажу всё, это может уничтожить и меня, и тех, кто рядом.

— Бог видит твое сердце, Николай, — тихо ответил старик. — Я могу прочесть над тобой разрешительную молитву. Я могу отпустить тебе грехи властью, данной мне от Христа. Но если ты сам не отпускаешь свою ложь, если ты продолжаешь держаться за нее — мои слова останутся просто звуком сотрясаемого воздуха. Благодать не входит в закрытую дверь.

Он начал читать молитву.

«Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит ти, чадо Николае, вся согрешения твоя...»

Я слушал эти древние, священные слова, которые сам произносил сотни раз над головами других людей. Я ждал катарсиса. Ждал, что сейчас невидимая тяжесть спадет с моих плеч, что слезы очищения хлынут из глаз, как это было когда-то в юности, в воронежском соборе.

Но ничего не произошло.

Внутри меня стояла мертвая, звенящая пустота. Разрешительная молитва скользнула по мне, как вода по стеклу, не проникнув внутрь. Я понял страшную вещь: таинство не работает механически. Нельзя прийти к Богу с

отредактированным отчетом вместо исповеди. Нельзя получить прощение за государственную измену собственной совести, назвав ее просто «трусостью». Утаив главное, я обесценил всё остальное.

Я поцеловал холодный металл креста и край Евангелия. Старик убрал епитрахиль с моей головы. Он посмотрел на меня с глубокой печалью, перекрестил и отвернулся к алтарю, давая понять, что разговор окончен.

Я вышел из храма.

На улице окончательно стемнело. Ледяной ветер гнал по земле сухие листья и мелкую снежную крупу. Я застегнул пальто на все пуговицы и пошел по грязной дороге в сторону автобусной остановки.

Вокруг расстилалась бескрайняя, равнодушная русская ночь. В окнах редких деревенских домов горел тусклый желтый свет. Я шел, проваливаясь ботинками в подмерзающую грязь, и чувствовал, что груз на моей груди стал еще тяжелее.

Я приехал сюда, чтобы обмануть Бога так же, как обманывал людей. Я хотел получить духовную анестезию, не отказываясь от своей болезни. И я потерпел сокрушительное поражение.

Я стоял на продуваемой ветром остановке, ожидая последнего рейса на Рязань. В кармане моего пальто лежал обратный билет до Москвы. Завтра я вернусь в свою квартиру. Завтра я посмотрю в глаза жене. Завтра я снова надену рясу и встану у престола. И где-то в сейфах на Лубянке продолжит лежать моя папка, в которую скоро лягут новые листы.

Я поднял воротник, пряча лицо от колючего снега. В темноте показались тусклые фары приближающегося автобуса. Я шагнул к краю дороги, увозя с собой свою нераскаянную, тщательно охраняемую тайну обратно в город, где мне предстояло жить с ней дальше.

Глава 12. Путч

Утро девятнадцатого августа тысяча девятьсот девяносто первого года началось с музыки.

Я проснулся от того, что из гостиной доносились приглушенные, но настойчивые аккорды Чайковского. Маша стояла у телевизора, замерев с кухонным полотенцем в руках. На экране, сменяя друг друга в бесконечном, гипнотическом цикле, танцевали балерины. «Лебединое озеро». В советском культурном коде эта трансляция означала только одно: в стране произошла катастрофа на самом высшем уровне. Смерть генсека или государственный переворот.

Диктор с каменным лицом зачитал сообщение о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР. Горбачев, как утверждали дикторы, не мог исполнять обязанности по состоянию здоровья. Власть переходила к ГКЧП. В Москву вводились войска.

Маша повернулась ко мне. В ее глазах был обычный человеческий страх перед неизвестностью, перед танками, которые уже лязгали гусеницами по асфальту Ленинградского проспекта. Она боялась за сына, за пустые полки магазинов, за возможную стрельбу на улицах.

Мой страх имел совершенно иную природу.

Я опустился в кресло перед телевизором и почувствовал, как по спине стекает холодная, липкая испарина. Обычный гражданин боится диктатуры. Агент тайной полиции боится момента, когда диктатура начинает шататься. Четырнадцать лет моя жизнь, моя безопасность и относительное благополучие моей семьи держались на одном-единственном фундаменте — на абсолютной, монолитной незыблемости Комитета государственной безопасности. Я продал душу системе, потому что верил в ее вечность. И теперь, глядя на трясущиеся руки вице-президента Янаева на пресс-конференции, я физически ощущал, как этот фундамент покрывается глубокими, сквозными трещинами.

Я не поехал в храм. Я позвонил настоятелю, сослался на внезапный приступ гипертонии и остался дома. Все три дня путча я был физически прикован к

экрану телевизора и радиоприемнику, настроенному на шипящие, прорывающиеся сквозь глушилки волны независимых станций. Я сидел в полутемной комнате, впитывая каждое слово, каждое сообщение о передвижении войск, о баррикадах у Белого дома.

Я ждал сигнала. Я ждал, что система, которой я служил, проявит свою железную волю, раздавит протест и вернет мне мое страшное, но привычное спокойствие.

Сигнал поступил во второй половине дня девятнадцатого августа. Но это был сигнал агонии.

Резкий, пронзительный звонок домашнего телефона разорвал тишину квартиры. Маша была на кухне. Я снял трубку.

— Да.

— Николай Сергеевич. Добрый день.

Я перестал дышать. Это был голос полковника Тимошевского.

За все годы моего сотрудничества с Четвертым отделом Пятого управления куратор ни разу не звонил мне на домашний номер. Это было строжайшим, непререкаемым табу. Домашний телефон — это открытая линия, это риск прослушки со стороны других ведомств, это прямое нарушение базовых правил конспирации. Для связи существовали явочные квартиры, безликие номера телефонов-автоматов, система условных фраз. Прямой звонок в квартиру агента означал, что протоколы безопасности больше не действуют.

— Юрий Александрович? — мой голос дрогнул, выдав панику. Я назвал его по имени-отчеству, избегая званий.

— Слушайте меня внимательно, — быстро проговорил Тимошевский.

В его голосе не было привычной металлической уверенности, не было той вальяжной снисходительности хозяина жизни, с которой он обычно отдавал приказы. Его голос был сдавленным, сухим. На заднем фоне, сквозь треск телефонной линии, я слышал гул голосов, хлопанье дверей и странный, монотонный звук, похожий на непрерывную работу мощных бумагорезательных машин. На Лубянке царил хаос.

— Никаких контактов. Никаких инициатив, — чеканил куратор, и я физически чувствовал, как ему не хватает воздуха. — Сидите дома. На улицу не выходить. На приходе вести себя максимально тихо. Пересидите. Скоро всё нормализуется. Вы меня поняли?

— Я понял. Но что происходит? Что с нашими...

— Пересидите! — рявкнул он, сорвавшись на крик, и тут же осекся. — Всё нормализуется, Николай. Ждите.

В трубке раздались короткие гудки.

Я медленно опустил трубку на рычаг. Моя рука дрожала так сильно, что пластик стучал по корпусу аппарата.

«Пересидите». Это слово эхом билось в моей голове. Тимошевский был напуган. Человек, который годами хладнокровно ломал чужие судьбы, который одним росчерком пера мог уничтожить диссидента или отправить в ссылку неугодного священника, сейчас звонил по открытой линии, потому что система управления рушилась на его глазах. Он не контролировал ситуацию. А если куратор теряет контроль, агент превращается в отработанный материал. В улику.

Утром двадцатого августа, после бессонной ночи, проведенной перед мерцающим экраном, я принял решение.

Я подошел к книжному шкафу в спальне. За вторым рядом книг, в старой коробке из-под шахмат, хранились мои черновики. Я никогда не отдавал кураторам тексты, написанные с первого раза. Я всегда делал наброски, выверял формулировки, чтобы не сказать лишнего, и сохранял эти исписанные листы для себя — как гарантию того, что я помню, о ком и что именно я докладывал. Это была моя личная, параноидальная бухгалтерия предательства. Там же лежали блокноты с резервными номерами телефонов, адресами явочных квартир и пометками о встречах.

Я сгреб все эти бумаги в старый кожаный портфель.

— Маша, — сказал я, выйдя на кухню. — Я поеду на дачу. Нужно проверить, не протекла ли крыша после дождей.

Она посмотрела на меня долгим, тяжелым взглядом. За окном по Ленинградскому шоссе шли бронетранспортеры, в центре города строились баррикады, а ее муж собирался ехать за город проверять крышу. Но она, как всегда, не задала ни одного вопроса. Она просто кивнула.

Дорога до нашего крошечного участка в шестидесяти километрах от Москвы заняла три часа. На выездах из города стояли военные патрули, но мою старую «Волгу» не остановили. Я вел машину, вцепившись в руль до побеления костяшек. Каждый встречный милицейский УАЗ казался мне опергруппой, отправленной за мной. Если власть переменится, если архивы КГБ попадут в руки новой, демократической власти — мое имя всплывет одним из первых. Я — агент «Алтарь». Я — соучастник.

Дачный поселок встретил меня звенящей, мертвой тишиной. Люди попрятались по домам, прильнув к радиоприемникам.

Я зашел в наш дощатый домик, пропахший сыростью и старой древесиной. Не раздеваясь, прошел к кирпичной печи. Руки действовали механически, подчиняясь древнему инстинкту уничтожения следов. Я открыл чугунную дверцу, бросил внутрь несколько сухих поленьев, плеснул жидкости для розжига и чиркнул спичкой. Огонь вспыхнул мгновенно, жадно облизывая сухое дерево.

Я открыл портфель. Достал первую стопку бумаг.

Это были черновики отчетов за восемьдесят восьмой год. Те самые, где я скрупулезно фиксировал бытовые ссоры в семье Александра Огородникова. Я смотрел на свой собственный аккуратный почерк. Буквы казались мне ядовитыми насекомыми. Я скомкал листы и бросил их в огонь.

Пламя на секунду присело, а затем с гудением поглотило бумагу. Края листов почернели, свернулись в трубки, вспыхнули ярким желтым светом и рассыпались в серый, невесомый прах.

Я бросал в печь страницу за страницей. Отчеты о разговорах в семинарии. Записи из Женевы. Списки людей, читавших самиздат. Номера телефонов конспиративных квартир на Фрунзенской набережной и на Соколе. Я жег свое прошлое, надеясь, что вместе с этой бумагой сгорит и моя вина.

В домике стало невыносимо жарко. Августовский зной смешался с жаром раскаленной кирпичной кладки. Пот заливал глаза, едкий дым щипал горло. Я

стоял на коленях перед открытой топкой, орудуя кочергой, разбивая обуглившиеся комки бумаги, чтобы не осталось ни единого читаемого фрагмента. Я уничтожал свой личный архив, но в глубине души понимал абсолютную бессмысленность этого акта. Мои черновики — ничто. Настоящие документы, подлинники с моей подписью и позывным «Алтарь», лежат в стальных сейфах на Лубянке. И до них мне не добраться.

Двадцать первого августа я вернулся в Москву.

Город изменился. Воздух был наэлектризован предчувствием развязки. По телевизору показывали толпы людей у Белого дома. Танки начали покидать столицу. ГКЧП терпел крах.

Я сидел перед экраном, покрытый копотью и пеплом, который въелся в поры кожи, и смотрел выпуск новостей. Диктор зачитывал хронику последних часов. И вдруг прозвучала информация, от которой у меня перехватило дыхание.

Двадцать первого августа, в самый разгар кризиса, когда российская власть уже называла действия ГКЧП антиконституционным переворотом, митрополит Питирим — один из самых влиятельных иерархов Церкви, глава Издательского отдела Московской Патриархии — посетил Бориса Пуго. Министра внутренних дел СССР и одного из главных организаторов путча.

Я смотрел на экран, и пазл складывался в единую, чудовищную картину.

Я знал, как работает Издательский отдел. В кулуарах Четвертого отдела КГБ это место считалось абсолютно подконтрольной территорией. Там работали агенты высшего звена, люди, регулярно выезжавшие за рубеж, формировавшие нужный государству образ Церкви. И теперь, в момент острейшего политического кризиса, иерарх такого уровня идет на встречу с лидером мятежников.

На дипломатическом языке, на языке власти, который я выучил за годы работы с Тимошевым, это означало только одно: признание «де-факто». Высшее руководство, тесно связанное с органами госбезопасности, сделало ставку на путчистов. Они поверили, что КГБ удержит власть. Они пошли на поклон к тем, кто обещал вернуть старые, жесткие порядки.

Это была фатальная, катастрофическая ошибка.

Путч провалился. Пуго вскоре застрелится в своей квартире. Члены ГКЧП будут арестованы. А Церковь, в лице своих высших представителей, окажется публично скомпрометированной связью с проигравшими мятежниками.

Я сидел в кресле, обхватив голову руками. Система не просто рухнула. Она рухнула, увлекая за собой всех, кто был к ней привязан. Если раньше наше сотрудничество с органами было тайной, скрытой за толстыми стенами кабинетов, то теперь этот визит к Пуго стал публичным маркером. Он высветил ту самую неотделенность церковных структур от государства, о которой диссиденты кричали годами.

Вечером двадцать второго августа над Москвой гремел салют. Толпы людей на Лубянской площади сносили памятник Дзержинскому. Железный Феликс, символ всемогущества тайной полиции, беспомощно раскачивался на тросах подъемного крана, пока ликующая толпа скандировала проклятия в адрес КГБ.

Я стоял у окна своей квартиры на девятом этаже и смотрел на далекие вспышки фейерверков.

Тимошевский обещал, что всё нормализуется. Он солгал. Нормальности больше не существовало. Страна праздновала освобождение, люди обнимались на улицах, плакали от счастья, веря, что впереди их ждет новая, чистая жизнь без страха и доносов.

А я стоял в темной комнате, один на один со своим ужасом. Я был врагом этой новой, ликующей страны. Я был частью того самого спрута, которому сейчас отрубали щупальца.

Мои черновики сгорели в дачной печи, но зеленые папки в архивах Пятого управления остались. И теперь эти архивы оказались в руках победителей. В руках тех самых людей, за которыми я наблюдал, на которых писал отчеты, чьи судьбы помогал ломать.

Я подошел к телефону. Снял трубку. В ней звучал ровный, непрерывный зуммер. Я набрал резервный номер Тимошевского. Длинные гудки. Никто не брал трубку. Куратор исчез, растворился в хаосе рушащейся империи, бросив свою агентуру на произвол судьбы.

Я положил трубку на место. Посмотрел на свои руки. Под ногтями все еще чернела въевшаяся сажа от сожженных донесений. Я сел на стул в прихожей, не зажигая света, и стал смотреть на входную дверь. Я ждал, когда за мной придут.

Глава 13. «Аргументы и факты», январь 1992

Январь 1992 года. Москва превратилась в один гигантский, промерзший насквозь стихийный рынок, где торговали всем: от консервированной ветчины до государственных тайн. Прежняя реальность рассыпалась на куски, и люди жадно, с каким-то болезненным остервенением пытались собрать из этих осколков новую картину мира.

Моя личная реальность сузилась до размеров газетного киоска у станции метро «Сокол».

Каждое утро, надев неприметное гражданское пальто и надвинув шапку на лоб, я выходил из дома и шел к этому киоску. Я стоял в очереди среди угрюмых, озябших людей, переминаясь с ноги на ногу, и скупал всю периодику, до которой мог дотянуться. «Известия», «Московские новости», «Российская газета», независимые листки, отпечатанные на плохой, серой бумаге. Мои пальцы коченели на морозе, оставляя на страницах черные следы от свежей краски. Я отходил в сторону, прислонялся спиной к обледенелой стене телефонной будки и начинал маниакально, строчка за строчкой, сканировать текст.

Я искал одно-единственное слово. Свой позывной.

Восьмого января я купил свежий номер еженедельника «Аргументы и факты». Тираж этой газеты в те годы исчислялся десятками миллионов экземпляров, ее читали в каждой квартире, передавали из рук в руки, зачитывали до дыр в метро и электричках. Я развернул хрустящие листы прямо на улице, не обращая внимания на колючий ветер, бросавший в лицо мелкую снежную крупу.

На одной из полос мой взгляд споткнулся о заголовок. Текст начинался с короткого вступления:

«В настоящее время с архивами КГБ работает депутатская комиссия Верховного Совета Российской Федерации. С членом этой комиссии священником Г. Якуниным встретился наш корреспондент П. Васильев».

Сердце сделало тяжелый, болезненный удар о ребра и замерло. Якунин. Тот самый диссидент, чье дело когда-то проходило через наши сводки. Теперь он сидел в архивах на Лубянке, получив легальный, государственный доступ к тем самым салатовым папкам с грифом «Совершенно секретно», в которых была задокументирована вся наша жизнь.

Я впился глазами в газетный столбец. Журналист спрашивал о конкретных именах, о том, кто скрывается за агентурными кличками. Ответ Якунина был напечатан черным по белому, без всяких недомолвок:

««Аббат» и «Адамант» — двое из ныне действующих иерархов Русской православной церкви. Теперь, что касается «Аптекаря». В целях конспирации КГБ давал клички не только своей агентуре, но и лицам, с которыми вели борьбу, — на чекистском языке они именовались «объектами оперативного наблюдения, учёта или разработки». «Аптекарь» — это религиозный диссидент мирянин А. Огородников».

Я перестал дышать. Воздух застрял в легких плотным, ледяным комом.

«Аббат». «Адамант». Это были не просто псевдонимы. Это были титаны, столпы, на которых держалась внешняя и внутренняя политика Московской Патриархии. Питирим Нечаев и Ювеналий Поярков. Люди, чьи руки я целовал при встречах, чьи резолюции определяли судьбы сотен священников. Люди, которые представляли нашу Церковь на международных аренах, говорили о мире и духовности с высоких трибун. Теперь их оперативные имена были выставлены на всеобщее обозрение, напечатаны тиражом, превышающим население некоторых европейских стран.

Я лихорадочно пробежал глазами по следующим абзацам. Там мелькали другие позывные. «Антонов» — митрополит Филарет Денисенко. «Нестерович». «Скала». Я читал этот мартиролог предательства, и меня трясло от животного,

неконтролируемого ужаса. Я ждал, что в следующей строке, в следующем предложении появится слово «Алтарь».

Но его там не было.

Я перечитал статью трижды. Сверху вниз и снизу вверх. Моего позывного в публичном списке не оказалось. Пока не оказалось.

Я сложил газету, сунул ее во внутренний карман пальто и медленно побрел по улице. Временная отсрочка не принесла облегчения. Наоборот, она превратила мою жизнь в изощренную пытку ожиданием. Если комиссия Пономарева и Якунина добралась до личных дел высшего эшелона, до «ведущей агентуры», то вскрытие рядовых осведомителей Четвертого отдела было лишь вопросом технического времени. Моя папка лежала где-то там, на тех же стеллажах. Мои отчеты, написанные аккуратным почерком, ждали своего часа, чтобы превратиться в газетную сенсацию.

В середине января меня вызвали в епархиальное управление для решения рутинных бумажных вопросов.

Здание управления встретило меня гулкой, напряженной тишиной. В коридорах, где обычно стоял негромкий гул голосов, обсуждающих назначения, ремонты храмов и предстоящие праздники, теперь висела тяжелая, вязкая паранойя. Священники, ожидавшие приема, сидели на дубовых скамьях, стараясь не смотреть друг другу в глаза.

Ко мне подошел отец Валерий — тучный, седовласый протоиерей из соседнего благочиния. Мы знали друг друга много лет.

— Читали, отец Николай? — спросил он полупшепотом, озираясь по сторонам. Его лицо было красным, покрытым испариной. — Что в прессе творится. Это же уму непостижимо. Какая клевета на владык! Какая бесстыдная, наглая ложь!

Он говорил громче, чем требовала ситуация, словно пытался убедить в своем возмущении не столько меня, сколько невидимых слушателей вокруг.

— Это целенаправленная атака на Церковь, — продолжал Валерий, нервно теребя крест на груди. — Хотят разрушить авторитет иерархии. Демократы проклятые. Добрались до власти и теперь глумятся над святынями.

Я смотрел на его потное, трясущееся лицо и думал: кто ты? «Настоятель»? «Святослав»? «Григорьев»? А может быть, ты действительно ни в чем не виноват и искренне веришь, что опубликованные документы — это фальшивка? В этом заключался главный, самый разрушительный итог работы Пятого управления: они отравили саму возможность доверия. Мы стояли в одном коридоре, носили одинаковые рясы, служили одному Богу, но каждый из нас подозревал в другом осведомителя.

— Да, отец Валерий, — ответил я ровным, бесцветным голосом. — Времена тяжелые. Нужно молиться.

Я отвернулся и отошел к окну. Лицемерие происходящего вызывало физическую тошноту. Мы все знали правду. Мы знали, как делались карьеры, как получались разрешения на выезд за границу, как согласовывались назначения настоятелей. Но признать эту правду вслух означало обрушить весь наш мир.

Я ждал реакции сверху. Я был уверен, что после таких оглушительных разоблачений, подкрепленных архивными документами, руководство Патриархии будет вынуждено сделать официальное заявление. Я ждал покаяния. Я ждал, что Синод соберется и скажет: да, мы были сломлены, мы пошли на компромисс ради выживания институции, простите нас. Если бы они сделали это, если бы они открыли двери для люстрации, я пошел бы первым. Я бы сложил с себя сан, ушел в монастырь трудником, принял бы любой суд Церкви, лишь бы избавиться от этого невыносимого груза.

Но наверху выбрали другую стратегию. Стратегию глухого, агрессивного отрицания.

В марте я купил десятый номер «Московских новостей». На развороте была опубликована статья референта Патриарха, диакона Андрея Кураева. Я читал его текст, сидя за кухонным столом, и чувствовал, как внутри меня умирает последняя надежда на очищение.

Официальный представитель Патриархии не стал опровергать подлинность документов. Он сделал нечто гораздо более циничное. Он объявил публикации о материалах парламентской комиссии гонением на Церковь. Он назвал обнародование правды об агентуре «триумфом самого КГБ».

Это была блестящая, иезуитская логика. Те, кто вскрывал гнойник, объявлялись врагами. Те, кто десятилетиями сотрудничал с тайной полицией, объявлялись мучениками, пострадавшими от новой демократической прессы. Руководство Церкви наотрез отказалось от деполитизации. Они не признали вину и не отвергли обвинения — они просто перевели разговор в плоскость защиты корпоративных интересов.

Единственным человеком из высшей иерархии, кто нарушил этот заговор молчания, оказался архиепископ Вильнюсский Хризостом. В пятьдесят втором номере «Российской газеты» вышло его интервью. Я читал его слова как откровение. Хризостом открыто, без утайки рассказал о своем восемнадцатилетнем сотрудничестве с органами. Он назвал свой позывной — «Реставратор». Он говорил о том, как писал отчеты, как пытался лавировать между совестью и требованиями кураторов.

Но его голос потонул в ватном, непроницаемом молчании остального епископата.

Парламентская комиссия под руководством депутата Пономарева выпустила официальные рекомендации. Они прямо указывали на то, что глубокая инфильтрация агентуры спецслужб в религиозные объединения представляет серьезную опасность для общества. Комиссия рекомендовала внести в канонические и гражданские уставы запреты на тайное сотрудничество ответственных работников Церкви с органами государства. Было предложено провести внутреннее расследование, очистить ряды от тех, кто использовал алтарь как прикрытие для оперативной работы.

Эти рекомендации не стали началом открытой церковной люстрации.

Сидя в своей квартире весной девяносто второго года, окруженный кипами старых газет, я наконец понял то, чего не смог осознать в дни августовского путча.

Система не рухнула.

Она просто сбросила старую, коммунистическую кожу, которая стала ей мала. Комитет государственной безопасности сменил аббревиатуру, переехал в другие кабинеты, но люди, методы и, главное, архивы остались на своих местах.

А церковная иерархия, насквозь пронизанная агентурными связями, инстинктивно сплотилась для защиты своих позиций.

Они не могли допустить люстрации, потому что люстрация уничтожила бы их самих. Защищая свои кафедры, свои митры и свои привилегии, они были вынуждены защищать всю вертикаль предательства, выстроенную за десятилетия.

И в этот момент я осознал самую страшную, самую парадоксальную вещь. Я был в безопасности.

Мой позывной «Алтарь» не появится в следующих публикациях, потому что доступ к архивам скоро закроют. Депутатские комиссии распустят, неудобных расследователей оттеснят на обочину политической жизни. Высшее руководство Церкви, сохранившее свои посты, сделает все возможное, чтобы тема агентуры навсегда исчезла из публичного поля. Они защитят меня не потому, что ценят меня как пастыря, а потому, что мое разоблачение — это прецедент, угрожающий их собственной безопасности. Мы все были повязаны одной круговой порукой.

Я подошел к окну. На улице таял грязный мартовский снег. По тротуарам текли черные ручьи, в которых отражалось серое московское небо.

Я выжил. Меня не арестовали, не лишили сана, не предали публичному позору на страницах многомиллионных газет. Государство и Церковь, слившись в негласном пакте о ненападении, обеспечили мне алиби. Но цена этой безопасности оказалась страшнее любого публичного суда.

Я вернулся к столу, собрал все вырезки из «Аргументов и фактов», «Московских новостей» и «Российской газеты», аккуратно сложил их в стопку и убрал в нижний ящик стола. Я закрыл ящик на ключ. В комнате стояла абсолютная тишина, нарушаемая лишь тиканьем настенных часов. Я смотрел на полированную поверхность стола и понимал, что отныне моим главным тюремщиком будет не полковник в сером костюме, а эта самая тишина.

Глава 14. РАЦИРС

Страна, потерявшая прежние идеологические ориентиры, жадно впитывала любую духовность, хлынувшую через рухнувший железный занавес. Вчерашние комсомольцы крестились в наскоро отремонтированных храмах, а на стадионах собирались тысячные толпы, чтобы слушать заезжих американских проповедников, корейских гуру и доморощенных пророков.

Для Московской Патриархии это было время небывалого триумфа и одновременно — время животного, институционального страха. Мы получили свободу, о которой молились десятилетиями, но вместе со свободой пришла конкуренция. Оказалось, что монополия на души людей больше не гарантирована государством. Люди уходили к баптистам, пятидесятникам, католикам, в новые религиозные движения. Они искали живого общения, понятных проповедей и общин, где каждый знал друг друга по имени.

Церковная иерархия, привыкшая за советские годы к тепличным условиям жесткого государственного регулирования, где все конкуренты были либо уничтожены, либо загнаны в глубокое подполье, оказалась не готова к открытому рынку идей. И тогда система сделала то единственное, что умела делать в совершенстве. Она начала выстраивать новый репрессивный аппарат.

Осенью 1996 года меня пригласили в просторный офис в центре Москвы, расположенный в здании, недавно переданном епархии. Здесь не было ничего от тех прокуренных, пыльных конспиративных квартир, где я когда-то встречался с кураторами из Пятого управления. Светлые стены, современные компьютеры, дорогие кожаные кресла, на стенах — иконы в массивных киотах и портреты иерархов.

За длинным столом сидели люди в строгих костюмах и несколько священников. Это было одно из первых рабочих совещаний структуры, которая вскоре оформится в Российскую ассоциацию центров изучения религий и сект — РАЦИРС.

Руководил собранием человек с академической бородкой и поставленным голосом лектора. Он говорил о том, что православная Русь подверглась

беспрецедентной духовной агрессии. Что западные спецслужбы используют так называемые «новые религиозные движения» для разрушения нашего культурного кода. Что нам необходимо защитить паству от деструктивных культов, применяющих методы контроля сознания.

— Отец Николай, — обратился ко мне председательствующий, передавая глянцевою папку с материалами. — Ваша репутация вдумчивого аналитика идет впереди вас. Вы умеете работать с людьми, умеете замечать детали, которые ускользают от других. Нам нужны такие эксперты. Мы формируем сеть центров по всей стране. Наша задача — собирать информацию, анализировать деятельность нетрадиционных религиозных групп и предоставлять государственным органам обоснованные заключения об их опасности.

Я открыл папку. В ней лежали бланки, методички по классификации сект, опросники для бывших адептов.

Я смотрел на эти бумаги, и внутри меня разливалось странное, пугающее чувство узнавания. Форма изменилась до неузнаваемости, но суть осталась прежней. Мне предлагали вернуться к той самой работе, от которой я так отчаянно пытался отмыться после распада Союза. Только теперь это было абсолютно легально. Более того — это подавалось как высшая форма пастырского служения, как защита веры и отечества.

Самым гениальным изобретением этой новой эпохи стала лингвистическая трансформация. Слова обладают колоссальной властью над совестью. Если назвать предательство «оперативным сотрудничеством», оно становится чуть менее невыносимым. Но создатели нового антисектантского движения пошли дальше.

Слово «донос» было навсегда изгнано из нашего лексикона. Теперь это называлось «экспертным заключением». Слово «разработка» превратилось в «религиоведческое исследование». Агент, собирающий компромат, стал уважаемым «экспертом-консультантом».

Я согласился. Я принял этот новый статус, потому что он предлагал идеальное укрытие. Внутри этой структуры я мог убедить себя, что борюсь с реальным злом. Что я защищаю доверчивых людей от мошенников и

фанатиков. Я надел на себя броню академической терминологии, чтобы не чувствовать запаха той грязи, в которую снова погружался.

Но чем глубже я вникал в работу, тем очевиднее становилась чудовищная ирония происходящего.

Мы обвиняли новые религиозные движения в тоталитаризме. Мы писали в своих заключениях, что они подавляют волю адептов, лишают их имущества, выстраивают жесткую вертикаль власти и не терпят инакомыслия.

И всё это происходило на фоне того, как сама Московская Патриархия в моих глазах всё явственнее обнаруживала черты той закрытой, вертикальной и нетерпимой к инакомыслию системы, которую мы сами называли признаком «деструктивного культа».

Я читал новые внутренние документы, которые спускались в приходы. Я видел, как методично, шаг за шагом, уничтожаются последние остатки православной соборности. В 1997 году был принят новый резко ограничительный для многих новых и малых религиозных объединений закон «О свободе совести», пролоббированный нашими иерархами. Он практически предоставил Патриархии государственные льготы и позволил начать зачистку конкурентов.

Затем последовали изменения в уставах. У общин постепенно сужалось самостоятельное распоряжение имуществом, а ключевые решения всё сильнее зависели от епархиальной вертикали. Здания, финансовые счета, земельные участки — всё оказывалось под контролем церковной администрации и правящего архиерея. Приходской актив больше не мог принимать значимые решения без утверждения сверху. Приходская самостоятельность сокращалась, а кадровые и хозяйственные решения всё чаще концентрировались в руках архиерейской власти.

Мы выстраивали жесткую иерархическую систему, основанную на беспрекословном подчинении младшего старшему по всей церковно-административной вертикали. Любая критика руководства приравнивалась к расколу. Священников, осмелившихся публично не согласиться с генеральной линией, лишали сана и выбрасывали за штат.

Мы обвиняли секты в попытках захвата власти над умами, в то время как сами искали устойчивые каналы влияния в государственных структурах. В регионах появлялись курсы православной культуры в светских школах, происходила заметная клерикализация военной среды, где освящались знамена и оружие. Мы заполняли ту самую нишу в сфере государственной безопасности, которую раньше занимал идеологический отдел ЦК КПСС.

И именно мне, винтику этой колоссальной, подавляющей машины, было поручено выявлять «тоталитаризм» в чужом глазу.

В ноябре 1998 года теория столкнулась с практикой.

В московский антикультовый центр поступил запрос из администрации небольшого промышленного города в Тверской области. Местная община христиан-пятидесятников подала заявку на долгосрочную аренду пустующего здания бывшего дома культуры «Металлист». Мэр города, человек осторожный и не желавший конфликтов с местным православным владыкой, приостановил процесс и запросил у нас «экспертную оценку деятельности данной религиозной группы».

Меня командировали на место.

Я приехал в город утренним поездом. День был серым, промозглым. Ветер гнал по разбитому асфальту грязную бумагу и сухие листья. Здание ДК «Металлист» представляло собой типичную советскую постройку с облупившейся штукатуркой и заколоченными окнами первого этажа.

Община арендовала небольшое помещение на втором этаже для воскресных собраний. Я поднялся по выщербленным бетонным ступеням. Меня встретил пастор — молодой мужчина лет тридцати пяти по имени Илья. На нем был потертый свитер, руки огрубели от физической работы. Он знал, кто я такой и откуда приехал, но в его глазах не было ни враждебности, ни страха. Только усталая надежда на диалог.

— Проходите, отец Николай, — сказал он, открывая передо мной дверь в зал. — Мы ничего не скрываем.

В помещении было холодно. Вдоль стен стояли ряды дешевых пластиковых стульев. В углу — самодельный пульт с микрофоном и старая акустическая колонка. На стенах висели детские рисунки с библейскими сюжетами.

Я провел с ними весь день. Я присутствовал на их богослужении. Я видел около пятидесяти человек — в основном женщин среднего возраста, нескольких подростков и группу коротко стриженных, напряженных парней.

— Это наши реабилитанты, — тихо пояснил Илья, перехватив мой взгляд. — Бывшие наркозависимые. Мы организовали для них центр за городом, в старом коровнике. Сами ремонт сделали. Они здесь заново учатся жить.

После службы мы сидели в крошечной подсобке, пили горячий чай из пластиковых стаканчиков. Илья показывал мне их финансовые отчеты — копеечные пожертвования, которые шли на покупку дров для реабилитационного центра и печать брошюр. Он рассказывал о том, как они хотят отремонтировать этот ДК, открыть здесь бесплатную столовую для малоимущих.

Я слушал его, кивал, задавал уточняющие вопросы. Мой голос звучал мягко, участливо. Я использовал те самые навыки эмпатического проникновения, которые оттачивал годами. Я располагал к себе.

А мой мозг в это время работал в режиме сканера. Я фиксировал факты, которые можно было использовать против них.

Илья упомянул, что они получают методическую литературу от братской церкви из Швеции. Факт для отчета: финансирование и идеологическая поддержка из-за рубежа.

Во время молитвы некоторые прихожане плакали, поднимали руки, говорили на непонятных языках — обычная практика для пятидесятников. Факт для отчета: использование техник введения в трансное состояние, психологическое манипулирование, потеря контроля над эмоциями.

Реабилитационный центр за городом, где бывшие наркоманы живут в изоляции и много трудятся. Факт для отчета: трудовая эксплуатация адептов, отрыв от семей, создание закрытой тоталитарной коммуны.

Я уехал вечером того же дня. Илья провожал меня до вокзала на своих старых «Жигулях». На прощание он крепко пожал мне руку.

— Спасибо, что приехали, отец Николай, — сказал он искренне. — Я верю, что мы служим одному Христу. Нам очень нужно это здание. Зима впереди, людям негде собираться. Надеюсь на вашу объективность.

Я смотрел в его открытое, уставшее лицо и улыбался.

Через три дня я сидел в своем кабинете в Москве. Передо мной лежал бланк с официальным колонтитулом центра. Я взял ручку и начал писать.

Я не выдумал ни одного факта. Я просто взял реальность и пропустил ее через фильтр нашей новой терминологии. Я описал их богослужения как «сеансы массового гипноза, наносящие непоправимый вред психическому здоровью граждан». Я назвал их реабилитационный центр «структурой по вербовке социально уязвимых слоев населения с целью их дальнейшей эксплуатации». Я указал на «прямую угрозу национальной безопасности в связи с получением инструкций от иностранных религиозных центров».

Текст ложился на бумагу гладко, безупречно. Это был идеальный документ. В нем не было ни капли крови, ни единого грубого слова. Только сухая, академическая забота о благополучии общества.

Я поставил свою подпись внизу страницы. Рядом легла круглая синяя печать.

Спустя месяц я узнал результат. На основании моего экспертного заключения администрация города не только отказала общине в аренде дома культуры, но и инициировала прокурорскую проверку их реабилитационного центра. Договор на аренду коровника был расторгнут под предлогом нарушения санитарных норм. Бывших наркоманов выставили на улицу в середине декабря. Община лишилась помещения для молитв и была вынуждена собираться по квартирам, опасаясь визитов милиции.

Я сидел за своим рабочим столом, глядя на копию отправленного документа. В комнате было тихо, только гудел системный блок компьютера.

Я вспомнил глаза Ильи на перроне вокзала. Вспомнил его слова об одном Христе.

В советские годы, работая на КГБ, я оправдывал себя тем, что нахожусь под давлением. Что я заложник системы, спасающий свою семью от расправы. Я был жертвой шантажа, вынужденной идти на компромисс со злом.

Но теперь всё было иначе. Никто не угрожал мне. Никто не держал в заложниках моих близких. Я получал хорошую зарплату, ездил на конференции, выступал с докладами, пользовался уважением в епархии. Я стал полноправным, добровольным участником карательного аппарата. Я научился уничтожать людей не по приказу человека в сером костюме, а по собственной инициативе, прикрываясь заботой о чистоте веры.

Я взял в руки официальный бланк со своей подписью. Я провел подушечкой большого пальца по синему оттиску печати, чувствуя легкую рельефность чернил. В этот момент я понял, что старый агент «Алтарь» никуда не исчез. Он просто надел крест с украшениями, выучил новые слова и получил право судить других. И этот суд был страшен именно своей обыденной, канцелярской стерильностью.

Глава 15. Дело Наташи

В марте 2003 года порог моего кабинета переступила женщина. На ней было дорогое кашемировое пальто, от нее пахло тяжелым, шлейфовым французским парфюмом, но ее руки, сжимавшие дорогую кожаную сумку, дрожали мелкой, неконтролируемой дрожью.

Ее звали Вера Павловна. Жена высокопоставленного чиновника из федерального министерства, представительница той новой, уверенной в себе российской элиты, которая привыкла решать любые проблемы одним телефонным звонком. Но сейчас она была просто напуганной, теряющей контроль матерью.

Она села на стул для посетителей, расстегнула сумку и выложила на мой стол фотографию. С глянцевой бумаги на меня смотрела девушка с русыми

волосами, собранными в небрежный хвост. У нее было открытое, ясное лицо и спокойная улыбка.

— Это моя дочь. Наташа, — голос Веры Павловны сорвался. — Ей двадцать два года. Студентка МГИМО. Умница, языки знает, блестящее будущее. Было. Пока она не попала к этим... сектантам.

Я приготовился слушать стандартную историю о потере имущества, переписанных на гуру квартирах или ритуальном насилии. За годы работы в ассоциации я научился вычленять из родительской истерики сухие факты.

— Что именно произошло, Вера Павловна? — спросил я, придвигая к себе блокнот. — Как называется организация? Где они собираются?

— Они называют себя христианской церковью. Какое-то «Слово благодати» или что-то в этом роде, — женщина с отвращением скривила губы. — Собираются в арендованном зале на окраине. Но дело не в названии. Вы понимаете, отец Николай, они ее сломали. Она стала чужой.

Я попросил конкретизировать. И чем дольше Вера Павловна говорила, тем яснее становилась картина. Наташа не отдавала секте миллионы. Она не жила в закрытой коммуне. Ее «падение» заключалось в другом. Девушка перестала ходить с родителями на светские рауты. Отказалась выходить замуж за сына отцовского партнера по бизнесу, заявив, что не любит его. Она начала читать Библию, бросила курить, стала ездить по выходным в детские дома волонтером. Она отдавала десятую часть своей стипендии в общину.

Для родителей, выстроивших для дочери идеальную, расписанную по годам траекторию успеха в сытых нулевых, это было равносильно смерти. Они потеряли власть над ее будущим. И эту потерю контроля они искренне, со всей страстью уязвленного самолюбия, принимали за результат гипноза и зомбирования.

— Мы пытались с ней говорить. Отец кричал, грозил лишить содержания. А она... — Вера Павловна достала платок и прижала его к глазам. — Она просто смотрит на нас и улыбается. Говорит, что любит нас, что молится за нас. Это страшно, понимаете? У нее стеклянные глаза. Ей нужна помощь. Медицинская помощь. Но врачи отказываются брать ее без оснований. Говорят — совершеннолетняя, дееспособная. Нам нужен документ от вашей организации.

Экспертное заключение, что эта секта разрушает психику. Мой муж подключит свои связи в Минздраве, но бумага должна исходить от вас.

Она ушла, оставив на моем столе фотографию Наташи и пухлую папку с распечатками с сайта этой евангельской общины.

Вечером того же дня меня вызвал к себе руководитель нашего аналитического направления — человек светский, в прошлом имевший отношение к силовым структурам, а теперь курировавший взаимодействие ассоциации с государственным аппаратом.

— Николай Сергеевич, — сказал он, указывая на папку с делом Наташи. — Семья очень серьезная. Отец девочки может оказать нам существенную поддержку на законодательном уровне. Они настроены решительно. Хотят добиться психиатрического вмешательства. Психиатры не могут просто забрать совершеннолетнего дееспособного человека без оснований, но при правильной формулировке «рисков» и семейного заявления можно запустить процедуру обследования. Ваша задача — посетить собрание этой группы, собрать фактуру и подготовить жесткое, однозначное заключение о деструктивном характере их практик.

В ближайшее воскресенье я поехал по адресу, указанному в материалах.

Это был старый дом культуры железнодорожников в спальном районе Москвы. Я надел обычный серый свитер и куртку, оставив рясу дома. Никто не должен был узнать во мне православного священника и эксперта. Я был просто случайным прохожим, зашедшим на звуки музыки.

Я поднялся на второй этаж и вошел в просторный, плохо отапливаемый зал. Внутри находилось около ста человек. Никаких черных балахонов, никаких портретов вождей, никакой мистики. Обычные люди. Студенты, молодые семьи с детьми, несколько пенсионеров. На сцене стояла барабанная установка и синтезатор.

Я сел в последнем ряду, скрестив руки на груди.

Служба началась с пения. Люди встали, некоторые закрыли глаза, кто-то поднял руки. Они пели простые, светлые песни о Божьей любви. Затем на сцену вышел пастор — мужчина лет сорока в обычной клетчатой рубашке. Он открыл Библию и начал проповедовать. Он говорил о Послании к Римлянам, о том, что

вера без дел мертва, о необходимости прощать врагов и сохранять чистоту сердца в жестоком мире.

Я слушал его, и внутри меня поднималась тяжелая, глухая тоска. Я профессионально искал в его речи маркеры нейролингвистического программирования, скрытые команды, техники введения в транс. И не находил их. Это была классическая, хрестоматийная протестантская проповедь. Искренняя и живая.

В середине зала я увидел Наташу.

Я узнал ее по фотографии. Она сидела рядом с пожилой женщиной, помогая ей найти нужное место в тексте Писания. В ее поведении не было ничего от того «зомбированного робота», которого описывала мать. Наташа была абсолютно адекватна. Она смеялась, когда пастор удачно шутил, она делала пометки в блокноте, она была здесь по своей собственной, свободной воле.

Я смотрел на эту двадцатидвухлетнюю девушку, и внезапно память безжалостно отбросила меня на тридцать лет назад. В заснеженный Воронеж. В холодную комнату общежития, где девятнадцатилетний студент физмата впервые открыл Евангелие без обложки. Я вспомнил то обжигающее чувство обретенной истины, то желание изменить свою жизнь, отказаться от фальши партийных лозунгов и пойти за Христом. Наташа сейчас переживала ровно то же самое. Она нашла свой свет.

А я сидел в заднем ряду, чтобы этот свет у нее отнять.

Я вышел из зала до окончания собрания. Весенний воздух на улице был резким, пах талым снегом и выхлопными газами. Я шел к метро, и каждый мой шаг отдавался гулом в висках.

Я знал правду. Эта община не представляла никакой угрозы ни для общества, ни для государства, ни для психики своих прихожан. Единственная угроза, которую они несли, — это угроза родительскому эгоизму и нашей церковной монополии. Если я напишу честный отчет, если укажу, что группа безопасна, я вступлю в прямой конфликт с руководством ассоциации. Я лишусь своего статуса, своей зарплаты, своего уютного кабинета. Влиятельный отец Наташи найдет другого эксперта, менее щепетильного, а меня просто спишут в утиль как неблагонадежного.

В понедельник утром я сидел перед монитором компьютера. На экране мерцал пустой текстовый документ.

Рядом лежала фотография Наташи.

Я положил руки на клавиатуру и начал печатать. Я писал о том, что в общине «Слово благодати» применяются методы жесткого контроля сознания. Я квалифицировал их совместные молитвы как «техники индуцирования массового транса, ведущие к подавлению критического мышления». Я описал отказ Наташи от светских развлечений как «патологический разрыв социальных связей и формирование фобии внешнего мира». Я использовал весь арсенал псевдонаучной терминологии, который мы разработали для борьбы с конкурентами.

Каждое напечатанное слово было ложью. Но эта ложь была упакована в безупречную академическую форму. Я создавал внешне экспертное обоснование для вмешательства над здоровым человеком.

Я распечатал документ на трех листах. Взял синюю ручку. На секунду моя рука зависла над бумагой. Я посмотрел на фотографию улыбающейся девушки. Затем опустил ручку и поставил свою размашистую подпись.

Документ ушел в работу.

Осенью того же года, спустя полгода после моего визита в дом культуры, в нашем офисе проходило небольшое совещание. После официальной части руководитель аналитического направления подошел ко мне с пластиковым стаканчиком кофе. Он был в отличном настроении.

— Кстати, Николай Сергеевич, хотел вас поблагодарить, — сказал он, понизив голос. — Помните дело Наташи? Дочери нашего человека из министерства. Ваше заключение сработало идеально.

Я почувствовал, как внутри меня всё сжалось в тугую, ледяной комок.

— Что с ней? — спросил я, стараясь удержать ровную интонацию.

— Всё в порядке, оформили госпитализацию. Родители добились вызова психиатрической бригады, представили ее поведение как угрозу для нее самой и как резкое ухудшение состояния. Приехали прямо на квартиру, которую она снимала с другими прихожанками, с милицией и санитарами. Девушка,

конечно, сопротивлялась, кричала о своих правах, но ваше заключение легло в папку вместе с заявлением семьи и первичным психиатрическим осмотром. Диагноз оформили быстро — шизотипическое расстройство, религиозно окрашенные сверхценные идеи.

Он отпил кофе, удовлетворенно прищурившись.

— Сейчас она в стационаре. Родители оплатили отдельную палату и дополнительные консультации. Врачи назначили нейрорептики и седативную терапию. Говорят, нужно «снизить возбуждение» и «купировать религиозную фиксацию». Мать звонила на прошлой неделе, плакала от благодарности. Говорит, девушка стала спокойной, тихой. Больше никаких песен и Библий. Вы сделали большое дело, отец Николай. Спасли ребенка.

Он похлопал меня по плечу и отошел к другим сотрудникам. Я остался стоять у окна. За стеклом по Садовому кольцу ползла бесконечная пробка, мигали красные габаритные огни.

Нейрорептики. Стационар. Закрытые двери. Я знал, что делают такие препараты, когда их применяют не для лечения, а как химическую узду, с человеческим мозгом. Я помнил рассказы старых диссидентов о карательной психиатрии семидесятых годов. О том, как химические смирительные рубашки превращают живого, мыслящего человека в послушную тень самого себя. Как препараты глушат волю, замедляют мысль и делают любое сопротивление почти невозможным.

В советское время я писал доносы на взрослых, сформировавшихся людей. На тех, кто понимал правила игры и осознавал риски. Я оправдывал себя тем, что просто фиксирую факты, а решения принимают другие.

Но здесь, в свободной России 2003 года, я своими собственными руками, своей собственной подписью отправил в психиатрический ад двадцатидвухлетнюю девушку. Девушку, чья единственная вина заключалась в том, что она поверила в Евангелие чуть более искренне, чем это допускалось рамками социального приличия ее родителей.

Я вернулся в свой кабинет. Закрыв дверь на ключ. На столе всё еще лежала копия того самого экспертного заключения. Я взял этот лист бумаги. Он был

легким, почти невесомым. Но в этот момент я физически ощутил, как он давит на мои руки, пригибая меня к земле.

Я подошел к раковине в углу кабинета, открыл кран и начал мыть руки. Я тер их мылом, смывая невидимую грязь, тер до тех пор, пока кожа не покраснела и не начала саднить. Вода с шумом уходила в слив. Я смотрел в зеркало над раковиной. Оттуда на меня смотрел седой, уважаемый протоиерей, эксперт, защитник веры. Человек, который только что помог распясть чужого ребенка, чтобы сохранить свой собственный комфорт.

Вода продолжала течь, но я знал, что никакая вода в мире не способна смыть чернила с того документа, который уже лежал в медицинской карте Наташи, навсегда перечеркнув ее жизнь.

Глава 16. Андрей

Ноябрь 2004 года выдался бесснежным, с тяжелым, низким небом, которое, казалось, лежало прямо на крышах московских многоэтажек. Дни сливались в одну сплошную серую полосу, лишенную теней и контрастов. Маша уехала на три недели в санаторий под Кисловодском — у нее в очередной раз обострилась астма, дыхание стало свистящим, прерывистым, и врачи настоятельно рекомендовали сменить промозглый столичный климат на горный воздух. Я остался в нашей трехкомнатной квартире один.

В тот вторник я вернулся из епархиального управления поздно. В прихожей горел свет, а на вешалке, поверх моего демисезонного плаща, висело знакомое темно-синее пальто.

Мой сын Андрей сидел на кухне. Ему было двадцать восемь лет. Он работал переводчиком технической литературы в крупном издательстве, жил отдельно, снимая небольшую студию на другом конце города, и заезжал к нам нечасто, обычно предупреждая о визите телефонным звонком.

Он сидел за кухонным столом, не сняв уличного свитера, ссутулившись, сцепив пальцы в замок. Перед ним не было ни чашки чая, ни тарелки. Только тусклый свет лампы под абажуром выхватывал из полумрака его лицо — бледное, с заострившимися скулами и плотно сжатыми губами.

— Здравствуй, Андрей, — сказал я, останавливаясь в дверном проеме. — Ты почему не предупредил? Я бы купил чего-нибудь к ужину.

Он не ответил на приветствие. Его взгляд медленно опустился на стол. Прямо поверх старой клеенки в мелкий цветочек лежала серая картонная папка на завязках. Я узнал ее мгновенно, и мой пульс отозвался глухим, болезненным толчком где-то в основании горла. Воздух на кухне внезапно стал плотным, непригодным для дыхания.

Неделю назад я затеял небольшую перестановку в своем кабинете. Отодвигая тяжелый дубовый книжный шкаф, я обнаружил глубокую щель между задней стенкой и разохшимся плинтусом. Туда, видимо, много лет назад провалилась эта папка. В ней лежали разрозненные листы — те самые немногочисленные черновики, которые по какой-то случайности не отправились в дачную печь в августе девяносто первого года. Я собирался уничтожить их на следующий день, но отвлекся на срочный вызов из ассоциации, сунул папку в нижний ящик письменного стола и забыл запереть его на ключ.

Рядом с пожелтевшими листьями из восьмидесятых на столе лежала свежая, ослепительно белая распечатка формата А4. Копия моего недавнего экспертного заключения для антикультового центра.

Андрей, заехавший забрать какие-то свои старые словари из моего кабинета, нашел всё это.

— Я жду тебя уже три часа, — произнес сын. Его голос был ровным, лишенным всяких эмоций, и от этой ледяной отстраненности мне стало по-настоящему страшно. Он профессионально работал с текстами, он умел вчитываться в смыслы, препарировать синтаксис и находить скрытые мотивы автора. Он был идеальным, безжалостным читателем для моих документов.

Я прошел на кухню, тяжело опустился на табурет напротив него. Между нами лежали эти бумаги — материальное, неопровержимое доказательство моего падения.

Андрей протянул руку и сдвинул один из старых листов ближе к центру стола. Это был черновик отчета за 1986 год. Дело провинциального священника, отца Валентина, которому из-за моих характеристик закрыли путь к получению собственного прихода.

— «Объект проявляет склонность к несанкционированным контактам с молодежью, в проповедях допускает двусмысленные трактовки гражданского долга», — прочитал Андрей вслух. Он поднял на меня глаза. — Твой почерк, папа. Аккуратный. Ни одной помарки.

Я молчал. Мои руки, лежавшие на коленях, начали мелко дрожать. Я инстинктивно спрятал их под стол.

Затем сын взял в руки свежую распечатку.

— А вот это ты написал несколько месяцев назад. «Группа практикует несанкционированное психологическое воздействие на адептов, формируя искаженное восприятие гражданских обязанностей».

Он положил белый лист рядом с желтым.

— Между этими текстами семнадцать лет. Разные бланки. Разные эпохи. Но язык один и тот же. Язык человека, который профессионально уничтожает других людей. Сколько лет ты этим занимаешься?

— Ты ничего не понимаешь, — хрипло выдавил я. Мой голос звучал жалко, надтреснуто. Я попытался включить интонацию умудренного опытом отца, пастыря, снисходительного к юношескому максимализму, но эта роль больше не работала. Фасад рухнул. — Ты не жил в то время. Ты не знаешь, как всё было устроено.

— Так расскажи мне, — жестко парировал Андрей. — Расскажи, как всё было устроено. Я ведь не просто прочитал эти бумаги. Я вчера ездил к маме в санаторий. Я отвез ей теплые вещи и задал несколько вопросов.

Упоминание Маши ударило меня наотмашь.

— Зачем ты впутываешь мать? У нее больное сердце, ей нельзя волноваться!

— Ей нельзя волноваться? — Андрей горько усмехнулся. — Она всю жизнь прожила в состоянии перманентного ужаса. Она рассказала мне про твои внезапные отъезды. Про то, как ты вздрагивал от телефонных звонков. Про тот трамвайный билет с цифрами, который она нашла в твоей рясе. Она не знала деталей, папа. Но она знала, что ты живешь двойной жизнью. Она глотала таблетки от давления, потому что делила дом с человеком, который каждый день лгал ей в глаза.

Я закрыл лицо руками. В памяти всплыл тот вечер в начале восьмидесятых, скомканный билет в пепельнице и взгляд Маши — взгляд женщины, добровольно согласившейся на слепоту.

— Меня заставили, — прошептал я, глядя на столешницу. — В семьдесят седьмом году. Они пришли ко мне. Они знали про деда... про отца Маши. Про то, что он слушает западные радиостанции, про его веру. Они угрожали уволить его с завода с волчьим билетом. Угрожали сломать жизнь Маше. Я не мог этого допустить. Я подписал бумагу, чтобы отвести от них удар.

Я поднял голову, ища в глазах сына хотя бы проблеск понимания. Я выложил свой главный, выстраданный аргумент. Свою индульгенцию.

— Я делал это ради вас. Я защищал нашу семью. Если бы я отказался, мы бы потеряли всё. Я взял этот грех на себя, чтобы вы могли жить спокойно.

Андрей смотрел на меня не мигая. В его взгляде не было ни сочувствия, ни сыновней жалости. Там была только брезгливость.

— Ты защищал семью? — тихо переспросил он.

Он взял со стола белый лист — экспертное заключение центра.

— А от кого ты защищал нас в этом году? Кто угрожал тебе сейчас? КГБ больше нет. Деда давно нет в живых. У тебя хорошая должность, уважение, статус. Никто не держит пистолет у твоего виска.

Он бросил лист обратно на стол. Бумага скользнула по клеенке и остановилась у моих рук.

— Ты понимаешь, что ты сделал? — голос Андрея впервые дрогнул, наполнившись тяжелой, свинцовой яростью. — Я навел справки об этой общине.

Я знаю людей, которые там бывают. Это обычные верующие. А эта девушка, Наташа... Я знаю, чем закончилась твоя экспертиза.

Я вздрогнул. Я не ожидал, что он зайдет так далеко в своем расследовании.

— Я защищал общество от деструктивного влияния, — попытался я ухватиться за привычные, заученные формулировки из методичек. — Там сложная психиатрическая ситуация, родители сами просили о помощи, девушка теряла связь с реальностью...

— Замолчи! — рявкнул Андрей, ударив ладонью по столу так, что звякнули пустые чашки в сушилке. — Просто замолчи. Не смей использовать при мне этот канцелярский мусор.

Он тяжело задышал, пытаясь взять себя в руки.

— Я защищал семью, — повторил я упрямо, цепляясь за эту фразу как за спасательный круг в бушующем море.

— Чью семью? — Андрей подался вперед, нависая надо мной. — Наташина семья теперь разрушена, из-за твоей бумажки. Из-за твоих правильных, выверенных слов двадцатидвухлетнюю девушку увезли в психиатрический стационар. Ей назначили препараты, ее лишили нормальной жизни, потому что ты решил поиграть в эксперта.

— Это другое, — пробормотал я, чувствуя, как земля уходит из-под ног. — Это совершенно другое. Я не желал ей зла. Я действовал в рамках своих должностных инструкций.

— Нет, папа. Это то же самое.

Слова сына упали в тишину кухни тяжелыми, гранитными блоками.

— Это абсолютно то же самое, — продолжил он, чеканя каждый слог. — Ты не защищал нас тогда. И ты не защищаешь общество сейчас. Ты защищаешь только свой собственный комфорт. Свой статус. Свою трусость. Тебе понравилось быть винтиком в системе, которая решает чужие судьбы. Ты привык к этой власти. Ты оправдывал свои доносы в восьмидесятых тем, что спасаешь маму. А чем ты оправдаешь то, что сломал жизнь Наташе? Тем, что тебе нужен был новый кабинет в епархии?

Я сидел, вцепившись побелевшими пальцами в края табурета. Каждое его слово было абсолютно точным, безжалостным диагнозом. Моя моральная конструкция, которую я возводил десятилетиями, подпирая ее костылями из компромиссов и благих намерений, рухнула в одночасье.

Я вспомнил, как Андрей был маленьким. Как он сидел на ковре в гостиной, собирая деревянный конструктор, а я смотрел на его светлую макушку и убеждал себя, что моя тайная работа — это щит, укрывающий его от жестокости советского мира. Я верил, что беру на себя грязь, чтобы он оставался чистым.

Но грязь не бывает локальной. Она просачивается сквозь стены, отравляет воздух, которым дышат твои дети. Я не защитил его. Я сделал его сыном предателя.

— Андрей, — мой голос сорвался на жалкий шепот. — Сынок... Я виноват. Я знаю, что виноват. Но я твой отец.

Он посмотрел на меня сверху вниз.

— Мой отец — священник, — сказал он тихо. — Человек, который учил меня не лжесвидетельствовать. А ты... Я не знаю, кто ты такой. Оперативный псевдоним. Эксперт. Чиновник. Но не отец.

Он медленно поднялся из-за стола. Застегнул пуговицы на своем пальто. Он не смотрел в мою сторону.

— Мне не нужны эти бумаги, — сказал он, кивнув на стол. — Оставь их себе. Можешь сжечь. Можешь написать на их основе еще одно заключение. Мне всё равно.

Он повернулся и пошел в прихожую.

Я не попытался его остановить. Я не бросился за ним следом, не стал хватать за рукав, умоляя о прощении. Мои ноги налились свинцом, тело отказывалось повиноваться. Я был парализован осознанием собственной, абсолютной несостоятельности.

В прихожей щелкнул замок. Дверь открылась и закрылась.

Андрей не хлопнул ею в сердцах. Он притворил ее тихо, аккуратно, дождавшись щелчка язычка. И эта подчеркнутая, вежливая аккуратность была страшнее любого крика. Она означала окончательный, бесповоротный разрыв.

Он ушел не в состоянии аффекта, который можно погасить временем. Он ушел, сделав осознанный вывод.

Я остался один на кухне.

Тишина в квартире стала оглушительной. Гудел старый холодильник, за окном шумели редкие машины на мокром асфальте. Я сидел за столом, глядя на разложенные передо мной документы.

Желтая бумага из прошлого. Белая бумага из настоящего.

Я протянул руку и коснулся распечатки с делом Наташи. Я закрыл глаза, и в темноте возникло лицо этой девушки — ясное, открытое, улыбающееся, каким я видел его на собрании общины. А затем это лицо сменилось другим образом — больничная палата, решетки на окнах, приглушенный лекарствами взгляд.

Мой сын был прав. Я никого не защищал. Я просто передавал эстафету боли от своей семьи к чужим. Я покупал свою безопасность ценой чужого рассудка, чужой свободы, чужой веры.

Я сидел в пустой квартире, окруженный вещами, купленными на деньги, заработанные ложью. Я был уважаемым протоиереем, авторитетным экспертом, человеком, к чьему мнению прислушивались в высоких кабинетах. И я был абсолютным, тотальным банкротом. Моя мораль оказалась дешевой подделкой, которая рассыпалась в прах при первом же столкновении с правдой, произнесенной голосом собственного ребенка.

Я опустил голову на скрещенные руки, прямо поверх своих доносов, и впервые за многие годы почувствовал, как к горлу подступает сухой, спазматический ком, не приносящий ни слез, ни облегчения. Только удушье.

Глава 17. Файл «Алтарь»

Память — самый искусный и беспринципный адвокат. Она обладает уникальной способностью ретушировать прошлое, сглаживать острые углы и стирать из протоколов собственной совести те эпизоды, с которыми психика не

способна справиться. За десятилетия двойной жизни я выстроил внутри себя монументальную линию защиты. Я убедил себя, что был заложником. Что мои донесения были вынужденной, стерильной формальностью. Что я писал обтекаемо, никого не предавая напрямую, и лишь спасал свою семью от безжалостного катка государственной безопасности.

Даже после ухода Андрея, когда моя моральная конструкция дала критическую трещину, какая-то часть моего сознания продолжала цепляться за этот спасительный миф. Мне нужны были доказательства. Не чужие слова, не газетные статьи, а физические, осязаемые свидетельства моих собственных действий. Мне нужно было увидеть исходный код своего падения.

Весной 2006 года я нашел человека, который мог предоставить мне такой доступ.

Его звали Геннадий Иванович. В восьмидесятые он служил аналитиком в одном из смежных подразделений Пятого управления, а теперь, в эпоху нефтяного изобилия нулевых, руководил частным охранным предприятием, попутно оказывая деликатные услуги по проверке биографий для крупных корпораций. У него остались связи, выходы на ведомственные архивы и доступ к тем массивам документов, которые частично уцелели, осели в копиях или разошлись по закрытым личным каналам в начале девяностых.

Мы встретились в конце апреля. Его офис располагался на территории бывшего станкостроительного завода в районе Лефортово — мрачной промышленной зоне, где советские кирпичные корпуса сдавались в аренду под склады и мелкие производства.

Кабинет Геннадия Ивановича находился на третьем этаже административного здания. Здесь пахло застарелой табачной гарью, нагретым пластиком оргтехники и той специфической канцелярской пылью, которая безошибочно выдает присутствие старых бумаг.

Геннадий Иванович, грузный, лысеющий человек в дорогом, но плохо сидящем костюме, встретил меня без лишних эмоций. Он закрыл дверь на ключ, прошел к массивному металлическому сейфу в углу комнаты и набрал код.

— Вы странный человек, Николай Сергеевич, — сказал он, не оборачиваясь. Звякнул тяжелый замок. — Обычно ко мне приходят солидные люди с просьбой

изъять подобные материалы. Платят серьезные деньги, чтобы их прошлое навсегда исчезло. А вы сами просите сунуть вас лицом в эту грязь. Зачем вам это? С моральной точки зрения срока давности по таким делам нет. А юридически сейчас уже почти ничего не поднимешь. Живите спокойно.

— Мне нужно вспомнить, — ответил я сухо.

Он пожал плечами, достал из сейфа тонкую картонную папку серого цвета и положил ее на стол передо мной.

— Основной том вашего личного дела лежит там, куда у меня доступа нет, — деловито пояснил он, садясь напротив. — Но это — рабочая подборка копий, когда-то снятых в аналитическом отделе. Копии ваших донесений, справки-меморандумы кураторов, оперативная переписка. Читайте. Выносить нельзя. Копировать нельзя. У вас час.

Он пододвинул ко мне настольную лампу, включил ее и вышел в смежную комнату, оставив меня одного.

Я смотрел на серый картон. На обложке не было ни моего имени, ни фамилии. Только выцветший штамп и аккуратная надпись черной тушью: «Рабочие материалы. Источник “Алтарь”».

Мои руки дрожали. Я положил ладони на стол, пытаюсь унять эту предательскую, старческую дрожь, затем медленно развязал тесемки и откинул обложку.

Первое, что ударило по моим чувствам, — это запах. Запах старой, пересохшей бумаги, который мгновенно перенес меня на тридцать лет назад, в тесные конспиративные квартиры, где я часами сидел под светом таких же ламп, выводя строчку за строчкой.

Я перевернул первый лист.

Это был мой собственный почерк. Я узнал его мгновенно: характерный наклон вправо, чуть заостренные петли букв «в» и «д», синяя шариковая ручка. Физическое присутствие моего следа на этой бумаге вызывало тошноту. Я начал читать текст, датированный ноябрем 1981 года.

Я читал и не узнавал интонацию.

В моей памяти я всегда был сомневающимся, рефлексирующим пастырем, который пытался смягчить удары системы. Но человек, написавший этот текст, не сомневался ни в чем. Язык донесения был сухим, безжалостным, хирургически точным.

«Сообщаю, что объект “Студент” (Валерий К., 1959 г.р.) продолжает попытки организации несанкционированных собраний молодежи после вечерних богослужений. 14 ноября с.г. объект передал двум прихожанкам машинописные копии текстов зарубежных авторов религиозно-философского толка. В беседах объект проявляет критическое отношение к действующему епископату, обвиняя его в излишней лояльности светским властям. Считаю целесообразным усилить контроль за контактами объекта в студенческой среде».

Я смотрел на эти строки, и из глубин вытесненной памяти начало медленно, мучительно всплывать лицо Валеры. Худой, близорукий юноша в нелепых роговых очках, студент исторического факультета. Он подходил ко мне на исповедь. Он доверял мне. Он искал в Церкви живое слово, свободное от советского официоза.

Я перевернул страницу. К моему донесению была приколата машинописная справка с резолюцией куратора: «На основании сигнала источника “Алтарь” проведена профилактическая беседа по месту учебы объекта. Валерий К. отчислен из института за поведение, несовместимое со званием советского студента. Призван в ряды ВС СССР».

Воздух в кабинете стал плотным, удушливым.

Я отчислил его. Я сломал жизнь двадцатидвухлетнему парню просто потому, что мне нужно было сдать ежемесячный отчет, а Валера оказался самым легким, самым доступным материалом. Я не спасал свою семью в тот момент. Моему тестю давно ничего не угрожало. Я просто выполнял рутинную работу осведомителя, поддерживая свой статус полезного агента. Я вычеркнул Валеру из своей памяти на двадцать пять лет, убедив себя, что мои отчеты ложились в стол и ни на что не влияли.

Я лихорадочно листал страницы, пропуская канцелярские сводки о настроениях в епархии, и останавливался на конкретных именах.

Октябрь 1983 года. Донесение на регента церковного хора, который тайно собирал деньги для помощи семьям арестованных диссидентов. Я указал его имя.

Март 1985 года. Подробный отчет о разговоре с иностранным журналистом, в котором я скрупулезно перечислил всех прихожан, пытавшихся передать ему письма.

Каждый лист был приговором. Я видел, как мои «безобидные наблюдения» превращались в сломанные карьеры, в отказы в прописке, в вызовы на допросы, в разрушенные нервные системы. Я был не просто наблюдателем. Я был наводчиком. Я указывал системе, куда именно нужно бить.

Но самый страшный удар ждал меня в конце папки.

Это был внутренний меморандум одного из отделов Пятого управления, датированный маем 1986 года. Документ был отпечатан на машинке и подписан полковником госбезопасности. Гриф «секретно» был почти стерт на верхнем поле копии.

Текст гласил: «Анализ работы источника “Алтарь” за прошедший период показывает высокую эффективность его использования в среде православного духовенства. Источник инициативен, дисциплинирован, предоставляет достоверную информацию, представляющую оперативный интерес. Агент “Алтарь” уверенно входит в число ведущей агентуры отдела. Учитывая изложенное, а также в целях дальнейшего закрепления источника и расширения его оперативных возможностей, полагал бы целесообразным: 1. Оказать негласное содействие в переводе источника на должность настоятеля одного из центральных храмов епархии. 2. Включить источника в состав официальной делегации для выезда на международную конференцию в ФРГ в сентябре с.г. 3. Поощрить источника ценным подарком».

Я перечитал этот абзац трижды. Буквы расплывались перед глазами, сливаясь в сплошную черную полосу.

«Ведущая агентура».

«Оказать негласное содействие в переводе».

В 1986 году я действительно получил назначение настоятелем в прекрасный, отреставрированный храм в престижном районе. Я помню, как гордился этим. Как принимал поздравления от коллег-священников. Как Маша радовалась, что у нас появятся дополнительные средства и возможность сделать ремонт в квартире. Я убеждал себя, что заслужил это своими проповедями, своим пастырским трудом, своим безупречным служением у престола.

А теперь я держал в руках документ, который доказывал: мой приход, мой статус, мои заграничные командировки — всё это было куплено. Это была прямая оплата за сломанную жизнь студента Валеры, за уволенного регента, за разрушенную семью Огородникова.

Миф о несчастном заложнике, вынужденном сотрудничать под дулом пистолета, рухнул окончательно, разлетевшись на мелкие, грязные осколки. Заложники не становятся «ведущей агентурой». Заложники не получают ценные подарки и повышения по службе за счет тех, на кого они доносят.

Я был карьеристом. Эффективным, хладнокровным винтиком репрессивного аппарата, который научился конвертировать чужую искренность в собственный социальный капитал. Я продавал доверие людей, приходивших ко мне за духовным утешением, в обмен на благосклонность людей в серых костюмах.

Я закрыл папку.

Тишина в кабинете нарушалась только гудением настольной лампы. Я сидел, глядя на серый картон, и чувствовал, как внутри меня умирает последний, самый стойкий очаг самооправдания.

Всю свою жизнь я искал виноватых. Я винил советскую власть, которая не оставила мне выбора. Я винил куратора Тимошевского, который шантажировал меня семьей невесты. Я винил церковное руководство, которое установило такие правила игры. Я винил эпоху, обстоятельства, исторический контекст.

Но правда заключалась в том, что никто не водил моей рукой, когда я выводил на бумаге имя студента Валеры. Никто не стоял у меня за спиной, когда я писал экспертное заключение на девушку Наташу в 2003 году. Система предоставляла рамки, но наполнял эти рамки конкретным, осязаемым злом именно я. Я был архитектором своего собственного предательства.

Дверь скрипнула. В кабинет вошел Геннадий Иванович. Он посмотрел на мое лицо, на плотно закрытую папку, и молча подошел к столу.

— Время вышло, Николай Сергеевич, — сказал он негромко.

Он забрал папку, подошел к сейфу, положил ее внутрь и повернул ручку замка. Металлический лязг прозвучал как выстрел.

— Вы нашли то, что искали? — спросил он, усаживаясь в свое кресло.

— Да, — мой голос прозвучал глухо, словно из-под земли. Я медленно поднялся со стула. Ноги казались чужими, ватными. — Я нашел всё.

Я вышел из кабинета, спустился по выщербленным бетонным ступеням и оказался на улице.

Был конец апреля. Яркое, безжалостное весеннее солнце заливало асфальт промышленной зоны. В лужах отражалось пронзительно синее небо. Мимо проехала грузовая машина, обдав меня запахом дизельного выхлопа. Жизнь продолжалась в своем обычном, равнодушном ритме.

Я стоял посреди грязного двора, щурясь от яркого света. Я посмотрел на свои руки. На те самые руки, которыми я благословлял людей, которыми держал потир во время литургии, которыми крестил младенцев. На указательном пальце правой руки, там, где ручка обычно опирается на кожу, за десятилетия образовалась едва заметная, плотная мозоль.

Я смотрел на эту мозоль, и мне казалось, что она пульсирует, живет своей собственной жизнью, как клеймо, выжженное на плоти. Я опустил руки в карманы пальто и медленно побрел в сторону метро, унося с собой тяжесть, которую больше нельзя было ни разделить, ни переложить на чужие плечи.

Глава 18. Молитва без слов

Конец мая 2006 года выдался в Москве аномально холодным. Ледяной ветер гнал по Тверской низкие, рваные облака, срывающиеся мелким, колючим

дождем. Я шел по городу пешком, без зонта, подняв воротник плаща. Вода стекала по лицу, забиралась за шиворот, но я почти не чувствовал холода. После визита в лефортовский офис Геннадия Ивановича и прочтения папки с моими собственными донесениями, мое тело словно утратило способность воспринимать внешние раздражители. Вся боль, весь ужас теперь концентрировались внутри, в той точке, где раньше, как мне казалось, находилась душа.

Я не мог вернуться домой. Пустая квартира пугала меня своей гулкой тишиной, в которой каждый шорох напоминал о шагах ушедшего сына. Мне нужно было другое место. Место, где я мог бы спрятаться от самого себя.

Ноги сами вывели меня к Брюсову переулку. Из-за пелены дождя проступил силуэт храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Это была одна из тех немногих московских церквей, которые не закрывались в советское время. Я бывал здесь раньше, по долгу службы, на торжественных богослужениях, окруженный свитой иподиаконов и внимательными взглядами коллег. Но сейчас я пришел сюда иначе. Не как функционер. Не как эксперт.

Я толкнул тяжелую дверь и переступил порог.

Внутри царил полумрак. Вечерняя служба давно закончилась, немногочисленные прихожане разошлись. Только у свечного ящика тихо переговаривались две пожилые женщины, да в глубине храма мерцали редкие огоньки лампад. Пахло растаявшим воском, ладаном и сырой штукатуркой.

Я снял промокший плащ, повесил его на сгиб руки и медленно прошел в центральную часть храма. Я был в обычной гражданской одежде — темном свитере и брюках. Никто не мог узнать во мне протоиерея, человека с безупречным послужным списком. Я был просто уставшим стариком, пришедшим с улицы.

Я остановился перед большой храмовой иконой Спасителя. Темная олифа, строгие, пронзительные глаза Христа, смотрящие прямо сквозь меня.

Мне нужно было помолиться. Это была не просто потребность — это был вопрос физического выживания. Моя картина мира, выстроенная на самооправдании, рухнула, погребя меня под обломками. Я нуждался в покаянии. В том самом настоящем, разрывающем сердце крике к Богу, который

я когда-то испытал девятнадцатилетним мальчишкой в Воронеже. Я хотел упасть на колени, прижаться лбом к холодному камню пола и выплеснуть из себя всю эту грязь, всю эту многолетнюю ложь.

Я закрыл глаза и попытался произнести первые слова Пятидесятого псалма. Самого известного, самого главного покаянного текста Церкви.

«Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей...»

Слова прозвучали в моей голове, но не дошли до губ. Горло свело тугим, болезненным спазмом. Я сглотнул вязкую слюну и попробовал снова.

«И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое...»

Ничего. Ни звука. Ни единой эмоции.

Я стоял перед иконой, и внутри меня разрастался леденящий ужас. Я знал эти тексты наизусть. Я произносил их тысячи раз, стоя у престола в золотом облачении. Я пел их, читал их, цитировал их в проповедях. Но сейчас, когда они понадобились мне для моего собственного, личного спасения, они оказались мертвы.

Они превратились в сухой песок, царапающий гортань.

Я открыл глаза и посмотрел на лик Спасителя. И в этот момент я понял причину своего духовного паралича.

Десятилетиями я использовал священные тексты не как средство общения с Богом, а как рабочий инструмент. Как камуфляж. Как оружие. Моя профессиональная деформация зашла так далеко, что уничтожила сам язык веры.

Память, безжалостно обостренная после лефортовского архива, услужливо подкинула мне конкретный эпизод. Февраль 1999 года. Я сидел в своем светлом кабинете в ассоциации и писал экспертное заключение на небольшую общину православных интеллигентов в одном из поволжских городов. Они не были сектантами. Они просто пытались перевести богослужение на современный русский язык и организовать бесплатную столовую для бездомных без согласования с местным епископом, который славился своей жесткостью и любовью к роскоши.

Мне поручили «купировать проблему». И я сделал это блестяще. Я не стал обвинять их в политической неблагонадежности — те времена прошли. Я ударил их теологией.

Я помню, как методично выискивал цитаты из святых отцов о грехе самочиния. Как вплетал в свой канцелярский текст древнюю антираскольническую формулу о том, что грех раскола не смывается даже мученической кровью. Я использовал понятие «церковного послушания» как дубинку, чтобы раздробить их инициативу. Мой документ, пересыпанный евангельскими аллюзиями и строгими каноническими терминами, лег на стол правящего архиерея. Через месяц община была разогнана, а их молодой священник, отец Сергей, запрещен в служении. У него было трое детей и больная жена. Он устроился работать сторожем на склад.

Я уничтожил его жизнь, используя слова о Божьей любви и смирении.

И теперь я пытался этими же самыми словами просить прощения?

Я физически ощутил, как мой мозг, натренированный годами оперативной и аналитической работы, начинает препарировать мою собственную попытку молитвы. Едва я пытался сформулировать мысль о раскаянии, как внутренний цензор — тот самый агент «Алтарь» — тут же оценивал ее с точки зрения стилистики и безопасности.

«Господи, я предал Тебя», — думал я. И тут же в голове всплывала поправка: слишком пафосно, не хватает конкретики, нужно уточнить обстоятельства.

«Я ломал судьбы людей ради своего благополучия». Формулировка неточная. Следует указать: действовал в условиях давления, минимизировал ущерб.

Я не мог молиться. Я мог только составлять объяснительные записки. Мой внутренний диалог с Богом превратился в бесконечный рапорт невидимому куратору. Я пытался подобрать правильные слова, чтобы оправдаться, чтобы выторговать себе снисхождение, чтобы доказать, что я был не так уж плох.

Я стоял посреди пустого храма, и меня трясло.

Отец Варлаам, мой старый наставник, когда-то рассказывал мне о лагерях. О том, как в бараке, среди мата, уголовников и смерти, он обрел настоящее молчание. Он говорил, что в этом молчании Бог присутствует так плотно, так осязаемо, что слова становятся не нужны. Вера Варлаама была внутренним сопротивлением, тишиной, которая была наполнена светом.

Я тоже пришел к молчанию. Но мое молчание имело обратный знак.

Это была тишина выжженной земли. Тишина пустой комнаты, в которой отключили телефонную линию. Я стоял перед Богом, но между нами была глухая, непроницаемая стена из тысяч исписанных листов. Из доносов, экспертных заключений, аналитических справок. Из правильных, красивых проповедей, которые я произносил, точно зная, что в первом ряду стоит человек от куратора и фиксирует мою лояльность.

Я продал свой голос. Я сдал его в аренду системе, сначала государственной, потом церковно-административной. И теперь, когда срок аренды истек, оказалось, что голос мне больше не принадлежит.

Где-то в глубине храма звякнуло ведро — уборщица начала мыть полы, готовя церковь к закрытию. Звук разнесся под сводами густым, тоскливым эхом.

Я смотрел на мерцающее пламя лампы перед иконой. Огонек дрожал, отбрасывая на лик Христа причудливые тени.

Если бы я мог заплакать. Если бы я мог выдавить из себя хотя бы одну слезу, как тогда, в юности, когда впервые переступил порог церкви. Но глаза были сухими. Профессиональная привычка контролировать эмоции, держать лицо, не выдавать своих истинных чувств ни жене, ни сыну, ни коллегам, сработала и здесь. Мое тело отказывалось реагировать на боль души.

Я понял страшную вещь. Катарсиса не будет.

В романах и фильмах грешник, осознавший глубину своего падения, падает ниц, рыдает, бьет себя в грудь, и на него снисходит очищающая благодать. Он встает с колен обновленным человеком.

В реальности всё обстоит иначе. В реальности ты просто стоишь в мокром плаще посреди чужого прихода, чувствуя, как у тебя ноют суставы от сырости, и

понимаешь, что ты абсолютно пуст. Что ты потратил тридцать лет своей жизни на то, чтобы методично, день за днем, убивать в себе способность к искренности.

Я не мог сказать Богу «прости». Потому что слово «прости» подразумевает надежду на то, что отношения можно восстановить. А я знал, что восстанавливать нечего. Я сам перерезал все провода.

Я вспомнил Наташу. Девушку из евангельской общины, которую мое заключение отправило в психиатрическую клинику. Я вспомнил студента Валеру, отчисленного из-за моего отчета. Я вспомнил отца Сергия, работающего сторожем.

Они могли молиться. Даже в закрытом отделении больницы, даже в армейской казарме, даже в холодной будке склада. У них отняли свободу, статус, будущее, но у них остался их язык. Их личный, неиспорченный разговор с небом.

А у меня, человека в шелковой рясе с крестом с украшениями, не было ничего, кроме канцелярского словаря.

— Мужчина, — раздался за спиной скрипучий голос. — Мы закрываемся. Пора.

Я медленно повернулся. Уборщица, опираясь на швабру, смотрела на меня с привычным раздражением человека, чью работу задерживают припозднившиеся посетители.

— Да, — сказал я хрипло. Голос прозвучал чуждо, словно принадлежал другому человеку. — Простите. Я уже ухожу.

Я перекинул плащ через руку и пошел к выходу.

Я не перекрестился на прощание. Не поклонился алтарю. Любой религиозный жест сейчас казался бы мне высшей формой лицемерия, продолжением той самой игры, в которую я играл всю свою взрослую жизнь.

Я вышел на улицу. Дождь усилился, превратившись в плотный, холодный ливень. Фонари отражались в черном асфальте размытыми желтыми пятнами. Мимо проносились редкие машины, обдавая тротуар веерами грязной воды.

Я стоял на крыльце храма, вглядываясь в темноту переулка. Внутри меня больше не было ни страха разоблачения, ни желания оправдаться, ни попыток

найти компромисс. Осталась только кристально ясная, безжалостная констатация факта. Я был мертв. Духовно, морально, лингвистически. И мне предстояло как-то доживать свой физический срок с этим знанием, не имея возможности даже попросить о пощаде.

Я надел плащ, шагнул под ледяные струи дождя и пошел прочь от храма, растворяясь в равнодушном шуме ночного города. На моем лице была вода, но это были не слезы. Просто московский дождь, смывающий городскую пыль, но не способный смыть ничего другого.

Глава 19. Исход

Двадцать третьего октября две тысячи восьмого года я пришел в свой кабинет на Пятницкой улице на час раньше обычного. Здание еще спало. Я сел за свой массивный стол из темного дерева. Включил настольную лампу. Достал из верхнего ящика чистый лист бумаги формата А4 — не фирменный бланк ассоциации с тисненым знаком, а обычный, пустой белый лист.

Я взял ручку. Ту самую, с золотым пером, которую мне подарили коллеги на пятидесятилетие, сопроводив подарок речью о моем неопенимом вкладе в защиту духовной безопасности страны.

«Председателю Российской ассоциации... Прошу освободить меня от занимаемой должности и исключить из состава экспертного совета по собственному желанию».

Я поставил дату и расписался. Три строчки. Никаких объяснений, никаких ссылок на состояние здоровья или усталость, никаких витиеватых извинений. Первый документ за тридцать один год моей профессиональной деятельности, в котором не было ни единого слова лжи.

В десять часов утра я вошел в кабинет руководителя нашего направления. Виктор Степанович сидел за компьютером, просматривая утреннюю сводку

новостей. Увидев меня, он приветливо кивнул и указал на кожаное кресло для посетителей.

Я положил свой лист прямо поверх его ежедневника.

Он скользнул по тексту взглядом. Сначала его лицо выразило легкое недоумение, затем брови сошлись на переносице. Он откинулся назад, сцепив пальцы на животе, и посмотрел на меня долгим, оценивающим взглядом человека, привыкшего искать двойное дно в любом поступке.

— Николай Сергеевич, — начал он мягко, с той самой интонацией, которую мы обычно использовали для бесед с сомневающимися чиновниками. — Что происходит? Если вопрос в финансировании вашего отдела, мы можем это обсудить. Я знаю, что нагрузка в последние месяцы была колоссальной. Вы устали. Возьмите отпуск. Поезжайте в Карловы Вары, епархия оплатит путевку.

— Я не устал, Виктор Степанович, — ответил я ровным голосом. — Я ухожу. Совсем.

Он усмехнулся, но улыбка не коснулась глаз.

— Уходят куда-то, отец Николай. Или от чего-то. У вас безупречная репутация. На следующей неделе слушания в Государственной Думе по поправкам к закону о свободе совести, ваш доклад заявлен как ключевой. Вы же понимаете, что мы не можем просто так взять и вычеркнуть вас из повестки? Вы — наш самый ценный эксперт. Ваш голос имеет вес.

Он придвинул к себе серую пластиковую папку, лежавшую на краю стола, и раскрыл ее.

— Послушайте, давайте отложим этот разговор. У нас горит срочный запрос из Екатеринбурга. Местный реабилитационный центр для трудных подростков «Уральский рассвет». Земля под их лагерем приглянулась одному серьезному застройщику, готовому пожертвовать крупную сумму на строительство кафедрального собора. Нам нужно ваше заключение о том, что в этом центре применяются методы деструктивного психологического манипулирования. Фактура там слабая, местные психологи мнутя, но вашего авторитета хватит, чтобы прокуратура начала проверку. Подпишите черновик, и езжайте отдыхать.

Он протянул мне распечатанный текст. Я смотрел на эти листы. Еще год назад я бы взял ручку, пробежался глазами по диагонали, выправил пару стилистических огрехов и поставил свою подпись, отправив очередной десяток чужих судеб под бульдозер административного ресурса.

Я не стал прикасаться к бумаге.

— Центр «Уральский рассвет» не представляет угрозы, — сказал я, глядя прямо в глаза Виктору Степановичу. — Они занимаются социальной работой. Моей подписи там не будет.

В кабинете повисла тяжелая, вязкая тишина. Руководитель медленно убрал руку от папки. Его лицо утратило всякое выражение дружелюбия, превратившись в непроницаемую маску функционера, столкнувшегося с системным сбоем.

— Вы понимаете, что делаете? — тихо спросил он. — Вы перечеркиваете всё. Свою карьеру, свое положение. Системе не нужны люди, которые внезапно начинают страдать избирательной слепотой. Если вы выйдете в эту дверь, возврата не будет. Вы потеряете всё свое влияние.

— У меня никогда не было влияния, — ответил я, поднимаясь с кресла. — У меня было только право обслуживать чужие интересы.

Я вышел из кабинета, не прощаясь. Я спустился на первый этаж, сдал пропуск на пост охраны и вышел на Пятницкую улицу. Осенний воздух был прозрачным и холодным. Я шел к метро, и с каждым шагом физически ощущал, как от меня отваливаются невидимые, но невероятно тяжелые пласты моей прежней жизни. Статус. Уважение. Страх перед начальством. Необходимость взвешивать каждое слово.

Процесс моего ухода из прежней системы занял три недели. В Московской Патриархии не любят немотивированных понижений — они вызывают подозрения. Когда я подал прошение о выводе за штат и отпускной грамоте для перехода в Рязанскую епархию, в самый глухой и бедный приход, на меня смотрели как на сумасшедшего. В кулуарах шептались, что я впал в депрессию, что у меня старческая деменция или что я пытаюсь избежать какого-то крупного коррупционного скандала. Никто не мог поверить, что человек добровольно

отказывается от столичного прихода и кабинета в центре Москвы ради гниющей деревянной церкви в вымирающей деревне.

Но я знал, куда еду.

Это была та самая деревня, куда я приезжал в ноябре тысяча девятьсот восемьдесят девятого года. Тот самый храм, где я пытался исповедаться старому священнику в своих доносах, но струсил, утаил главное и ушел не прощенным. Старый священник давно умер. Приход несколько лет стоял пустым, службы там проводились раз в месяц приезжавшим из райцентра иеромонахом.

В середине ноября я загрузил свои немногочисленные личные вещи в старую машину и покинул Москву.

Дорога заняла шесть часов. Последние двадцать километров я ехал по разбитому грейдеру, утопая в осенней грязи. Деревня встретила меня покосившимися заборами, заколоченными окнами брошенных изб и лаем одинокой собаки.

Храм стоял на небольшом холме, окруженный заросшим кладбищем. Деревянное здание девятнадцатого века, с облупившейся голубой краской и проржавевшими куполами. Я подошел к крыльцу. Ступени прогнили и угрожающе скрипели под ногами. На двери висел тяжелый амбарный замок.

Ключи мне передала местная жительница, баба Нюра, вышедшая на шум мотора. Она смотрела на меня с недоверием, кутаясь в пуховый платок.

— Неужто насовсем к нам, батюшка? — спросила она, протягивая связку ржавых ключей. — У нас тут и жить-то негде. Сторожка худая, печь дымит. Молодые все в город подались. Нас тут три калеки осталось.

— Насовсем, Анна Ивановна, — сказал я, забирая ключи.

Я открыл замок и с трудом отворил набухшую от сырости дверь.

Внутри было холоднее, чем на улице. Воздух был спертый, пахло мышами, старой древесиной и тленом. Сквозь щели в рассохшихся оконных рамах пробивался тусклый ноябрьский свет, выхватывая из полумрака потемневшие иконы в простеньких деревянных окладах. На полу лежал слой пыли и опавшей штукатурки. Никакого золота. Никаких мраморных полов. Никакой акустической системы.

Я прошел в алтарь. Престол был покрыт выцветшей, засиженной мухами тканью.

Здесь не было ничего от того великолепия, к которому я привык за годы своей успешной карьеры. Здесь не было государства, не было политики, не было экспертных советов. Здесь была только абсолютная, нищая нагота.

Моя первая неделя в деревне превратилась в непрерывную физическую борьбу за выживание. Сторожка, в которой мне предстояло жить, действительно оказалась полуразрушенной. Печь требовала ремонта, дров не было.

Я снял рясу, надел старый ватник, взял в руки топор и пошел на задний двор колоть дрова из поваленных ветром старых берез.

Я не занимался физическим трудом со времен студенческих стройотрядов. Мои руки, привыкшие держать только ручку, компьютерную мышь и серебряный крест, покрылись кровавыми мозолями в первый же день. Спина ныла от непривычной нагрузки, суставы ломило от пронизывающего холода. Я рубил сырое дерево, с трудом вытаскивая застрявшее лезвие топора из вязкой древесины, и каждый удар отдавался тупой болью в плечах.

Но в этой боли была странная, забытая честность.

Когда ты колешь дрова, ты видишь прямой результат своего действия. Полено раскалывается надвое. Ты складываешь его в поленницу. Ты разжигаешь печь, и в комнате становится теплее. Здесь нет двойных смыслов. Нет оперативных псевдонимов. Нет необходимости формулировать фразы так, чтобы уничтожить человека, не нарушив при этом уголовный кодекс.

Вечерами, когда печь наконец начинала гудеть, отдавая тепло, я сидел за грубым дощатым столом при свете керосиновой лампы — электричество в деревне отключали регулярно. Я смотрел на свои огрубевшие, стертые в кровь руки.

Я не питал иллюзий. Я не считал свой переезд искуплением. Искупление — это слишком красивое, слишком литературное слово. Оно подразумевает, что счет можно закрыть, что баланс можно свести к нулю. Но как свести к нулю сломанную психику Наташи? Как вернуть годы, проведенные в ссылке отцом Варлаамом? Как стереть из памяти моего сына Андрея тот факт, что его отец — профессиональный предатель?

Никак. Мои дрова, моя холодная сторожка, моя добровольная нищета не отменяли ни одного из написанных мной доносов. Моя боль в пояснице не лечила тех, кого я отправил под каток системы.

Я приехал сюда не для того, чтобы очиститься. Пепел не поддается очистке. Я приехал сюда просто для того, чтобы перестать умножать зло. Чтобы выйти из бесконечного цикла, в котором я находился с тысяча девятьсот семьдесят седьмого года.

В первое воскресенье я служил литургию. В храме было так холодно, что пар шел изо рта. На службу пришли ровно три человека — баба Нюра и две ее соседки, такие же древние, согбенные старухи в темных платках. Они стояли у свечного ящика, опираясь на палочки, и их тихие голоса тонули в гулкой пустоте деревянного здания.

Я вышел на амвон. На мне было старое, потертое облачение, найденное в сундуке в алтаре. Я произносил возгласы, и мой голос звучал непривычно глухо. Я не пытался играть интонациями, не пытался произвести впечатление. Мне не перед кем было выступать. Здесь не было кураторов, оценивающих мою лояльность. Не было коллег, завидующих моему положению. Не было интеллигенции, ждущей от меня глубоких теологических откровений. Были только эти три женщины, которым нужно было простое утешение, и ледяной воздух, обжигаящий легкие.

Я читал Евангелие. Тот самый текст, который когда-то нашел на подоконнике воронежского общежития. Я читал его медленно, спотыкаясь на словах, словно заново учился говорить. Мой внутренний цензор, мой агент «Алтарь», который десятилетиями препарировал каждый священный текст, выискивая в нем политическую целесообразность, молчал. Ему не за что было зацепиться в этой промерзшей пустоте.

После службы, когда старухи разошлись по домам, я остался в храме один. Я закрыл тяжелые царские ворота, погасил свечи, оставив только одну лампаду перед иконой Спасителя. За окнами начиналась ранняя зимняя метель, ветер завывал в щелях под крышей, бросая горсти колючего снега в мутные стекла.

Я стоял посреди пустого храма. Я не чувствовал ни благодати, ни прощения, ни внезапного просветления. Моя душа оставалась такой же тяжелой и

неподвижной, как свинцовая плита. Но впервые за тридцать лет я точно знал, где нахожусь. Я стоял на гнилых досках, в забытой Богом и государством деревне, и мне больше не нужно было ни от кого прятаться.

Я подошел к окну, за ним была только темнота и снег, никаких отчетов, никаких экспертиз, никаких чужих судеб в моих руках. Только холод, тишина и долгая, бесконечная зима, которую мне предстояло пережить наедине со своей памятью.

Глава 20. Эпилог. 2026. Письмо

Январь две тысячи двадцать шестого года выдался в Рязанской области глухим, непроницаемым и безжалостно холодным. Снег шел несколько суток подряд, засыпая брошенные избы, ломая гнилые заборы и стирая последние границы между мертвой деревней и окружающим ее лесом.

Мне семьдесят четыре года. Мои суставы реагируют на каждое изменение атмосферного давления тупой, выматывающей болью, а зрение сильно село, так что теперь мне приходится щуриться даже при свете мощной лампы. Восемнадцать лет назад, когда я только приехал сюда, сбежав из просторных московских кабинетов, я еще мог махать топором по несколько часов кряду. Теперь колка дров превратилась в медленный, тяжелый ритуал, требующий долгих передышек. Баба Нюра и две ее соседки, составлявшие мою первую паству, давно лежат на заросшем погосте за алтарем. Деревня окончательно опустела. Я остался один.

На часах половина четвертого утра. За окном моей покосившейся сторожки царит абсолютная, первозданная тьма, в которой тонет даже завывание ветра.

Я сижу за грубым дощатым столом. Передо мной лежит стопка дешевой писчей бумаги и шариковая ручка. Мои пальцы, покрытые пигментными пятнами и узлами вздувшихся вен, мелко дрожат. Я смотрю на чистый белый лист, и эта белизна режет глаза, требуя заполнения.

Я пишу письмо и знаю, что никогда не отправлю его. У меня нет адреса, я не знаю, в каком городе, в какой клинике или в какой квартире живет сейчас адресат. Я даже не знаю, жива ли она. Но физический акт письма, движение чернил по бумаге — это единственная форма разговора, которая мне теперь доступна.

«Здравствуй, Наташа.

Сейчас тебе должно быть сорок пять лет. Я помню тебя двадцатидвухлетней. Я помню твое лицо в том холодном зале дома культуры, твою улыбку, твой открытый взгляд, когда ты слушала проповедь. Я помню фотографию, которую принесла твоя мать.

Я — тот самый человек, чья подпись на бланке экспертного заключения помогла запустить процедуру, после которой тебя увезли в психиатрический стационар осенью две тысячи третьего года. Я тот, кто дал внешне экспертное обоснование для вмешательства в твою жизнь, здоровье и свободу.

Я пишу это не для того, чтобы попросить у тебя прощения.

Долгие годы, читая богословские труды и произнося проповеди с амвона, я верил в абсолютную, безусловную ценность покаяния, за которым следует прощение. Нам внушали, что нет такого греха, который не мог бы быть смыт слезами раскаяния. Что достаточно искренне сказать «прости», и невидимая небесная бухгалтерия обнулит твои долги.

Но прожив здесь, в этой ледяной изоляции, почти два десятилетия, я понял одну страшную, невыносимую для любого священника вещь. Просить прощения в моем случае — это высшая форма эгоизма.

Если бы я нашел тебя, если бы я упал перед тобой на колени и начал умолять о снисхождении, чего бы я добивался на самом деле? Я бы пытался облегчить свою собственную боль. Я бы переложил тяжесть своего преступления на твои плечи. Я бы заставил тебя, жертву, проделать колоссальную эмоциональную работу — работу по оправданию своего палача. Я бы потребовал от тебя великодушия, чтобы самому наконец-то уснуть спокойно.

Это было бы последним, самым циничным актом насилия над тобой.

Я не имею права на твоё прощение. Никто не имеет права требовать индульгенции за то, что сломал чужую жизнь ради сохранения собственного комфорта, статуса и кабинета. Моя подпись под тем документом была не ошибкой, не заблуждением и не результатом давления. Она была осознанным выбором человека, который привык конвертировать чужую искренность в свою безопасность.

Поэтому я не прошу меня прощать. Я оставляю этот грех себе. Целиком.

Единственное честное действие, которое мне осталось, — это нести тяжесть памяти. Я помню всё. Я помню твоё имя. Я помню студента Валеру, которого отчислили по моему доносу. Я помню отца Сергея, лишённого прихода из-за моей аналитической справки. Я помню Александра Огородникова и его разрушенную семью. Я помню своего наставника, отца Варлаама, отправленного умирать в глушь из-за моей трусости. Я помню глаза моего сына Андрея в тот вечер, когда он ушел из моего дома навсегда.

Они стоят вокруг меня в этой пустой комнате. Они не упрекают, не кричат, не требуют возмездия. Они просто присутствуют. И моя задача — смотреть на них, не отводя взгляда. Не пытаюсь спрятаться за красивыми цитатами из святых отцов, не пытаюсь оправдать себя историческим контекстом или сложностью эпохи.

Я помню. Это всё, что у меня есть. Моя память — это мой крест, и я не собираюсь просить никого помочь мне его нести».

Я ставлю точку. Чернила слегка расплываются на дешевой бумаге. Я аккуратно складываю лист вдвое, затем ещё раз, и укладываю его в нагрудный карман старого шерстяного свитера, ближе к телу. Там уже лежат несколько таких же сложенных листов — письма, написанные в разные годы, адресованные тем, чьи жизни я пустил под откос. Мой личный, неотправляемый архив. Моя настоящая исповедь, не требующая разрешительной молитвы.

Я тяжело поднимаюсь со стула, спина отзывается привычным хрустом. Я надеваю ватник, натягиваю на голову старую ушанку, беру с гвоздя у двери связку тяжелых, покрытых инеем ключей и выхожу на улицу.

Морозный воздух мгновенно обжигает легкие, перехватывая дыхание. Снег под валенками скрипит громко, резко, словно битое стекло. До храма идти всего

двести метров в гору, но для меня этот путь теперь занимает минут десять. Я иду медленно, пробивая тропинку в свежих сугробах, наметенных за ночь. Вокруг стоит звенящая, мертвая тишина. В этой тишине нет ни величия, ни угрозы. Она просто констатирует факт моего абсолютного одиночества.

Я подхожу к крыльцу. Деревянные ступени давно сгнили, и мне приходится опираться руками о перила, чтобы подняться. Я вставляю ключ в массивный амбарный замок. Металл промерз насквозь, механизм поддается не сразу. Я наваливаюсь на дверь плечом, преодолевая сопротивление разбухшего от сырости дерева, и переступаю порог.

Внутри храма еще холоднее, чем на улице. Темнота здесь густая, осязаемая. Я иду к алтарю по памяти, безошибочно огибая невидимые в мраке аналои. Мои шаги гулко отдаются под деревянными сводами.

Я останавливаюсь перед храмовой иконой Спасителя. Достаю из кармана коробок спичек. Пальцы слушаются плохо, первая спичка ломается, чиркнув по серной полоске. Вторая вспыхивает резким, желтым огнем, освещая мои дрожащие руки.

Я зажигаю одну тонкую восковую свечу и ставлю ее на подсвечник. Маленький, трепещущий язычок пламени выхватывает из темноты потемневший лик Христа. Он смотрит на меня. Я смотрю на Него. Я стою на том же самом месте, в той же самой точке, с которой начал свой рассказ.

В юности, когда я впервые открыл Евангелие на подоконнике воронежского общежития, мне казалось, что свет веры способен сжечь любую ложь. Что он очищает, преображает, делает человека новым. Я верил в магию преображения. Позже, надев рясу и подписав бумагу о сотрудничестве с органами, я научился использовать этот свет как прожектор, ослепляющий других, пока сам я прятался в спасительной тени системы. Но теперь, глядя на эту единственную свечу в промерзшем, пустом храме, я понимаю истинную природу света.

Свет не сжигает прошлое. Он не уничтожает написанные доносы, не возвращает здоровье тем, кого сломали чужие решения и принудительное лечение, не воскрешает мертвых и не склеивает разрушенные семьи. Свет не

приносит катарсиса. Свет делает только одно: он позволяет видеть вещи такими, какие они есть.

Он освещает мои руки, которыми я ломал чужие судьбы. Он освещает мою старость, лишенную уважения и любви. Он освещает мою память, в которой навсегда запечатлены имена моих жертв.

Я стою перед иконой. Я не произношу ни звука. Мой внутренний словарь, когда-то переполненный канцелярскими терминами, оперативными псевдонимами и красивыми теологическими формулировками, окончательно иссяк. Мне нечего сказать Богу, и мне кажется, что я больше не способен услышать Его ответ.

Никакого очищения не происходит. Небо не разверзается, слезы не текут по моим щекам, тяжесть в груди не становится легче ни на грамм. Я остаюсь тем же самым Николаем Кравцовым, агентом «Алтарь», предателем в рясе, который доживает свой век на краю земли.

Но в этом отсутствии чуда, в этой ледяной, безжалостной ясности есть своя, окончательная правда. Я не отворачиваюсь. Я продолжаю смотреть на пламя свечи. Оно дрожит на сквозняке, грозя погаснуть в любую секунду, но пока держится. Маленький, слабый, но настоящий свет.

Я буду стоять здесь, пока свеча не догорит до конца. А потом наступит утро. Очередной холодный, пустой день, который я проживу, неся в себе свою память. Без надежды на прощение. Без попыток оправдаться. Просто зная правду. И это знание — единственное честное наследие, которое я оставлю после себя в этом мире.